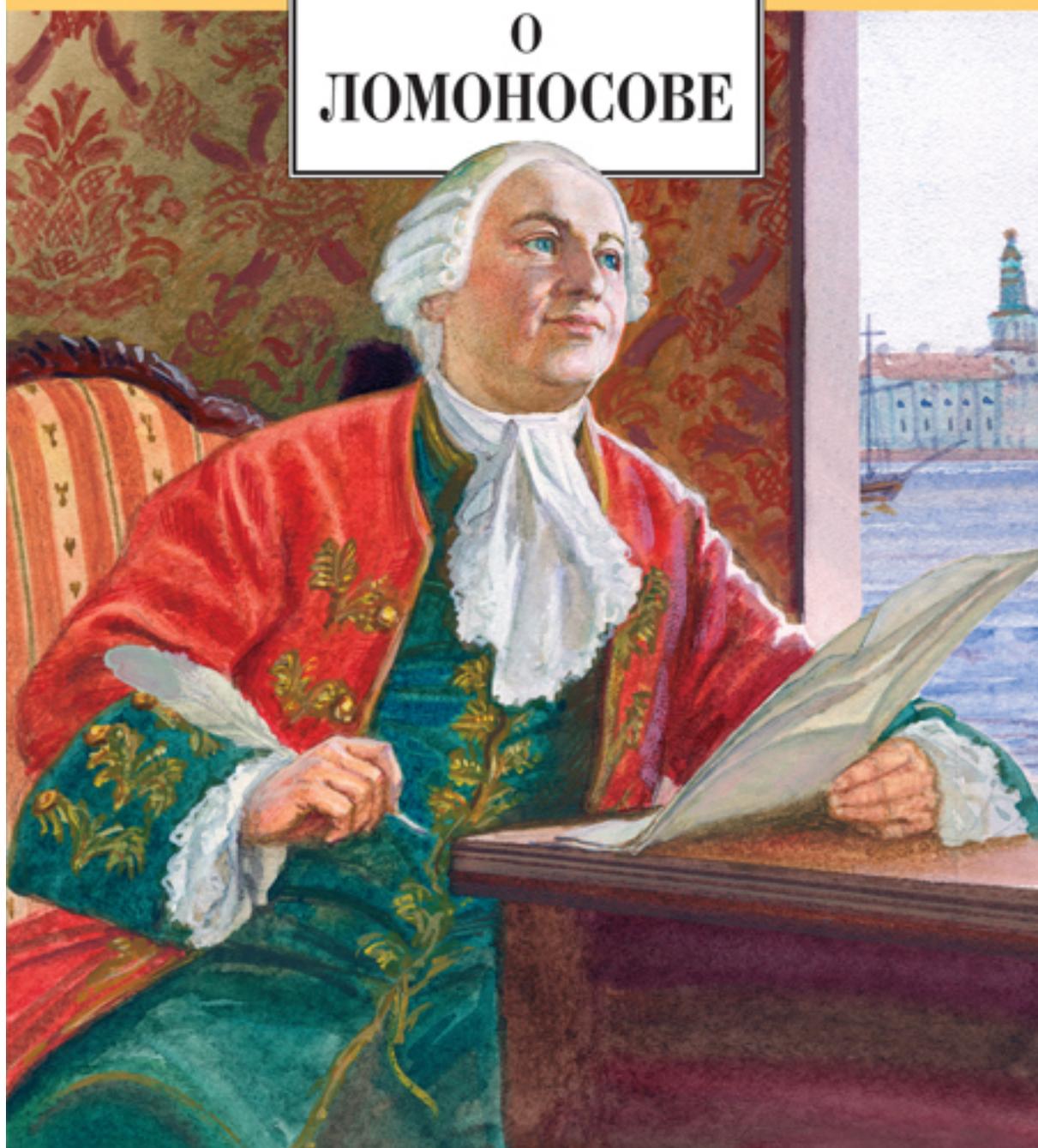


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



**ПОВЕСТИ
О
ЛОМОНОСОВЕ**



Школьная библиотека (Детская литература)

Сергей Андреев-Кривич

Повести о Ломоносове (сборник)

Издательство «Детская литература»

1947, 1960

Андреев-Кривич С. А.

Повести о Ломоносове (сборник) / С. А. Андреев-Кривич —
Издательство «Детская литература», 1947, 1960 — (Школьная
библиотека (Детская литература))

В книгу вошли две исторические повести о великом русском ученом М. В. Ломоносове. В повести «Крестьянский сын Михайло Ломоносов» С. А. Андреева-Кривича рассказывается о юношеских годах Ломоносова, о его стремлении к познанию и образованию. Автор собрал все известные документальные материалы об этой поре жизни Михайлы Ломоносова и на их основании построил свою интересную повесть. «Повесть о великом поморе» Н. А. Равича посвящена деятельности Ломоносова в Петербургской академии наук, его борьбе за русскую науку, за открытие первого университета в России. В ней рассказывается о работах Ломоносова в различных областях науки, литературы и искусства, о самоотверженном служении своему народу. Для среднего и старшего школьного возраста.

© Андреев-Кривич С. А., 1947, 1960

© Издательство «Детская
литература», 1947, 1960

Содержание

Михайло Васильевич Ломоносов	6
От редакции	12
С. А. Андреев-Кривич	14
Глава первая	15
Глава вторая	19
Глава третья	25
Глава четвертая	29
Глава пятая	32
Глава шестая	34
Глава седьмая	37
Глава восьмая	42
Глава девятая	45
Глава десятая	49
Глава одиннадцатая	51
Глава двенадцатая	54
Глава тринадцатая	58
Глава четырнадцатая	62
Конец ознакомительного фрагмента.	63



**Сергей Алексеевич Андреев-Кривич,
Николай Александрович Равич
Повести о Ломоносове**

© Андреев-Кривич С. А., наследники, 1960

© Равич Н. А., наследники, 1947

© Морозов А. А., наследники, вступительная статья, 1990

© Бритвин В. Г., иллюстрации, 2011

© Оформление серии, примечания. ОАО «Издательство «Детская литература», 2011

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Михайло Васильевич Ломоносов (Очерк жизни и деятельности)

...Как архангельский мужик
По своей и Божьей воле
Стал разумен и велик.

Не без добрых душ на свете –
Кто-нибудь свезет в Москву.
Будешь в университете –
Сон свершится наяву!

Н. А. Некрасов. «Школьник»

В ноябре 2011 года исполняется 300 лет со дня рождения великого сына нашей Родины Михаила Васильевича Ломоносова. Это имя, как имя А. С. Пушкина и многих других российских гениев, составляет гордость и славу России. Не было почти ни одной отрасли знания, куда бы не проникла его пытливая мысль и где бы ему не пришлось сказать новое слово. Химия, физика, металлургия, астрономия, естествознание, география, геология, история, искусство, поэзия – таково многообразие творческой деятельности Ломоносова. Его жизнь – это вечный пример неутомимого дерзания, бескорыстной любви к науке и самоотверженного служения своему народу.

Михайло Васильевич Ломоносов родился в деревне Мишанинской¹ на Курострове, одном из больших островов, образованных неподалеку от села Холмогоры рекой Северной Двиной, примерно в 150 км от впадения ее в Белое море. Днем рождения его принято считать (точно не установлено) 8 (19) ноября 1711 года.

Отец, Василий Дорофеевич Ломоносов (1681–1741), был черносошным или, иными словами, государственным крестьянином. Расселившись вдали от феодальных центров, русские поморы не знали личной крепостной зависимости от помещиков. На Севере варили соль, гнали смолу, добывали слюду и железо, строили и снастили морские суда. На беломорском Севере развивалась своеобразная народная культура. Северяне помнили и бережно передавали из рода в род эпические сказания о подвигах русских богатырей. Среди них была распространена грамотность и уважение к печатной и рукописной книге. Опытные кормщики знали основы навигации и умели пользоваться компасом.

В. Д. Ломоносов кроме сельского хозяйства занимался морским промыслом. Примерно в 1721 году он, один из первых на Севере, построил «новоманерный гуккор» – парусное судно нового типа, какими Петр I приказал обзаводиться поморам. На гуккоре вместе с отцом Михайло Ломоносов совершал дальние плавания вдоль берегов Белого моря и Ледовитого океана. Полные трудов и опасностей морские переходы закалили Михайлу физически, воспитали в нем твердость духа, решительность и неустрашимость, обогатили его множеством разнообразных впечатлений. В мальчике рано пробудилась любознательность и развилось живое чувство природы – непосредственный источник поэтического чувства.

Пытливо присматривавшийся ко всему юноша скоро пристрастился к книжному чтению. Грамоте он обучился у соседей и у знакомого дьячка. Вскоре ему удалось раздобыть лучшие

¹ По другим сведениям, М. В. Ломоносов родился в деревне Денисовке, которая находилась рядом с деревней Мишанинской.

по тем временам книги: «Граматику» церковнославянского языка Мелетия Смотрицкого и «Арифметику» Леонтия Магницкого, которые он впоследствии называл «вратами своей учености». «Арифметика» Магницкого, изданная в Москве в 1703 году, отвечала потребностям петровского времени. Кроме курса начальной математики она содержала различные теоретические и практические сведения по физике, географии, астрономии и навигации.

Жажда знаний все сильнее овладевала Ломоносовым. И вот он задумал неслыханное дело. В конце 1730 года, запасшись паспортом, который он получил в Холмогорах с помощью земляков, Михайло, по-видимому против воли отца, ушел в морозную ночь пешком вслед за рыбными обозами, направляющимися в Москву. И он не только дошел, но и сумел поступить в единственную высшую школу того времени – Славяно-греко-латинскую академию, хотя для этого ему пришлось выдать себя за сына дворянина.

В академии обучение производилось на латинском языке, которого Ломоносов не знал. И девятнадцатилетнему юноше пришлось учиться «с малыми ребятами», которые над ним смеялись. Он терпел нужду и голод. «Имея один алтын² в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше как на денежку³ хлеба и на денежку квасу, протчее на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом жил я пять лет и наук не оставил», – вспоминал впоследствии Ломоносов в письме к И. И. Шувалову.

Он овладел латынью и углубился в чтение античных писателей: Вергилия, Овидия, Горация, кроме того, увлекся философской поэмой Лукреция Кара «О природе вещей», содержащей изложение учения великих материалистов древности – Демокрита и Эпикура об атомистическом строении мира. Книги, вышедшие в петровское время, – «Космотеорос» нидерландского ученого Христиана Гюйгенса, популярные труды ученых Петербургской академии наук и иностранных исследователей по физике и философии познакомили Ломоносова с новейшим естествознанием, в частности с учением польского астронома Николая Коперника и физическими воззрениями Рене Декарта.

Обучение в Славяно-греко-латинской академии, где господствовала схоластика⁴, не удовлетворяло Ломоносова. Его тянуло к практическим делам. И вот в самом конце 1735 года в его жизни наступает решительный перелом. В числе лучших учеников академии он был вытребован в Петербург и зачислен студентом при основанной в 1725 году Петром I Академии наук. Занимаясь в «физическом кабинете» Петербургской академии, Ломоносов обнаружил выдающиеся способности и вскоре (осенью 1736 года) был отправлен для изучения химии и горного дела в Германию.

Обучаясь в Марбурге у известного в то время ученого и философа Христиана Вольфа, отличавшегося энциклопедическими знаниями, Ломоносов почерпнул от него много фактических сведений в разных областях науки. Наряду с физикой и химией молодой ученый из России уделял большое внимание изучению иностранных языков и теории литературы, особенно вопросам стихосложения. Он усердно изучал приобретенный им незадолго до отъезда за границу трактат В. К. Третьяковского «Новый и краткий способ к сложению российских стихов», вышедший в 1735 году. Это отразилось на его поэтической практике. Среди дошедших до нас студенческих тетрадей Ломоносова – переписанные им тексты оды древнегреческого поэта Анакреонта «К лире» на семи языках. Русский перевод сделан самим Ломоносовым и предположительно относится к 1738 году.

Летом 1739 года Михаил Васильевич с двумя товарищами, Виноградовым и Рейзером, переехал во Фрейберг (Саксония) к «горному советнику» Генкелю для изучения горного дела и металлургии. Ломоносов спускался в рудники, беседовал с опытными рудокопами и плавиль-

² Алтын – старинная монета в 6 денег или в 3 копейки.

³ Денежка – старинная медная монета в полкопейки.

⁴ Схоластика – тип религиозной философии, сухого и формального подхода к богословию.

щиками. Кроме того, во Фрейбурге он написал патриотическую оду о победе русских войск – овладении турецкой крепостью Хотин в 1739 году. По словам В. Г. Белинского, с нее, «по всей справедливости, должно считать начало русской литературы».

В мае 1740 года Ломоносов уехал обратно в Марбург для продолжения изучения теоретической физики. Здесь он женился на сироте, дочери бывшего местного пивовара Елизавете Цильх.

8 июня 1741 года Ломоносов возвратился на родину. Вскоре его зачислили адъюнктом⁵ по физическому классу Академии наук. Работать ему приходилось в тяжелых условиях. Назначенное жалованье месяцами не выплачивалось или выдавалось... книгами. В 1743–1744 годах Ломоносов более полугодя провел под домашним арестом, что было вызвано столкновениями с реакционными немецкими академиками, стоявшими во главе Академии наук.

Но эти годы были и чрезвычайно плодотворными. Одну за другой ученый представляет диссертации по важнейшим вопросам физики и химии. 25 июля 1745 года Ломоносов становится профессором химии и полноправным членом Петербургской академии наук. Но химической лаборатории в академии еще не было. После долгих хлопот Ломоносова в сентябре 1748 года она была построена по хорошо продуманному им плану.

Ломоносов был одним из крупнейших новаторов в химии как по смелости и глубине теоретического мышления, так и по экспериментальной работе. Он вводил в лабораторную практику различные новые методы физического исследования, в частности пользовался микроскопом для изучения структуры различных веществ и наблюдения за химическими процессами, а также разрабатывал рецептуру фарфоровых масс и пороховых составов. Увидев итальянские мозаики, он загорелся идеей создать «мозаичное искусство» в своем Отечестве. Проведя около 4 тысяч опытов, он разработал рецептуру мозаичных составов – смальт, сверкавших как самоцветы и обеспечивающих большее разнообразие и глубину оттенков, чем у прославленных итальянских мозаичистов. Он построил небольшую фабрику для производства смальт и сам набирал большие мозаичные картины и портреты: Петра I, Елизаветы Петровны, Екатерины II и др.

Только в одном этом деле Ломоносов проявил себя как химик и техник, художник и историк. В работе над мозаиками сказалась одна из характернейших черт его творческой деятельности – многообразие интересов и вдохновенный практицизм.

При всей широте и многообразии научная и практическая деятельность Ломоносова отличалась большой целеустремленностью. Он стремился постичь единство законов, управляющих природой. Он изучал мир во всей безграничности его проявлений, начиная от незримых атомов, составляющих все тела природы, и кончая небесными светилами, рассеянными в необъятной Вселенной.

Глубокий подход к изучению природы, материалистическая направленность мысли позволили Ломоносову прийти к гениальному обобщению – сформулировать «всеобщий закон природы», впервые изложенный им в письме от 5 июля 1748 года к знаменитому математику Леонарду Эйлеру, позднее – в своем труде «Рассуждение о твердости и жидкости тел», напечатанном на русском и латинском языках в 1760 году. «Все перемены, в Nature случающиеся, – писал Ломоносов, – таково суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимается, столько присовокупится к другому, так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте... Сей великий всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения; ибо тело, движущее своею силою другое, столько же оныя у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает...»

Истинное познание было возможно для Ломоносова только на основе единства теории и опыта. Физики и химики XVIII века представляли себе материю в отрыве от движения.

⁵ А д ъ ю н к т – научный ассистент или помощник профессора.

Свойства самой материи объяснялись существованием неких особых посторонних и неуловимых материй. Ломоносов был убежденный атомист, он утверждал, что все многообразие мира можно постичь, только изучив строение вещества, подчеркивал необходимость проникнуть в тайну атомов – первоначальных частиц, составляющих основу мироздания.

Не было почти ни одной отрасли естествознания того времени, где бы Ломоносову не удалось сказать новое слово или сделать какое-либо важное открытие. Ученый разработал теорию теплоты, рассматривая ее как особый вид внутреннего движения частиц самой материи. В своем гениальном сочинении «О слоях земных» он выдвинул идею изменчивости природы и определил геологию как науку о непрерывном изменении Земли. 26 мая 1761 года Ломоносов сделал открытие в астрономии: «Планета Венера окружена знатною воздушною атмосферою». Он первый высказал мысль об электрической природе северных сияний и разработал учение о движении воздуха в верхних слоях атмосферы, заложив тем самым основы новейшей метеорологии.

Вместе со своим другом, петербургским академиком Георгом Вильгельмом Рихманом, Ломоносов занимался изучением атмосферного электричества и производил опыты, опасные для жизни. 26 июля 1753 года Рихман погиб при проведении таких опытов во время грозы.

Чем бы ни занимался Ломоносов, какие бы великие и общие законы природы ни устанавливал, какие бы открытия ни совершал, он стремился обратить достижения науки на благо своего народа, посылить содействовать своим трудом «приращению общей пользы». Он прокладывал множество путей для развития русской науки и национальной культуры. «Он создал первый Университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим Университетом», – писал о нем А. С. Пушкин. Ломоносов занимался историческими разысканиями, обращался к древнейшему периоду русской истории – периоду образования Киевской Руси. Большое место в его деятельности занимали филологические науки. Он впервые на русском языке составил печатные труды: «Риторика» (1747) и «Российская грамматика» (1755).

Ломоносов настойчиво опровергал суждения, намеренно распространявшиеся иностранцами, что Россия бедна полезными ископаемыми или даже не может ими обладать в силу особенностей своего климата и географического положения. Он один из первых указал на исторические преимущества России, на ее неисчерпаемые возможности. С удивительной прозорливостью он указывал, что основой развития страны и залогом ее независимости является металл, и обосновал это в предисловии к своей книге «Первые основания металлургии, или рудных дел» (1763). Он поддерживал свои идеи и поэтическим словом:

...Возри в поля свои широки,
Где Волга, Днепр, где Обь течет;
Богатство в оных потаенно,
Наукой будет откровенно...

В моря, в леса, в земное недро
Прострите ваш усердный труд,
Повсюду награжу вас щедро
Плодами, паствой, блеском руд.

Ломоносов видел нужду и горе народное, темноту и дикость нравов. Ломоносовская программа прогрессивного развития страны на началах науки и разума отвечала интересам народа. Однако, выдвигая эту программу в условиях феодально-крепостнического строя, он чрезмерно надеялся на государственные мероприятия, которые, как он искренне полагал, могли быть направлены «к приращению общей пользы». Одной из таких попыток было его знаменитое письмо, представленное И. И. Шувалову, «О размножении и сохранении российского

народа» (1761), в котором он требовал от правительства принять неотложные меры для охраны здоровья населения, борьбы с детской смертностью и т. д. и указывал: «Побеги бывают более от помещичьих тягощений крестьянам...»

Ломоносов стремился сделать науку всеобщим достоянием, и ему удалось положить этому блистательное начало: в 1755 году он добился открытия в Москве первого университета. Ученый-патриот приложил большие усилия к тому, чтобы открыть доступ в университет самым широким слоям народа, без различия происхождения или сословия, чтобы в университет принимали не только дворян, но и разночинцев, даже «положенных в подушный оклад», в том числе и крестьян. Он писал:

О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов⁶
И быстрых разумом Невтонов⁷
Российская земля рождать.

И по его настоянию в Московском университете были открыты две гимназии: одна – для дворян, другая – для разночинцев.

В конце жизни Ломоносов отдал много сил на всестороннее изучение нашей страны. В 1759 году он стал во главе Географического департамента Петербургской академии наук, где велись большие работы по составлению генеральной карты России. Большое внимание Ломоносов уделял морскому делу. Он написал «Рассуждение о большей точности морского пути» (1759), где подробно исследовал вопросы навигации и предложил разработанные устройства различных приборов, в частности высказал мысль о создании самопишущего компаса.

В сентябре 1763 года с целью побудить правительство к организации большой полярной экспедиции Ломоносов представил в Морскую российскую комиссию «Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию». 14 мая 1764 года экспедиция была разрешена и на нее были отпущены средства. Ломоносов принял деятельное участие в ее снаряжении новейшими приборами, составил подробную инструкцию для командиров, поставил научные задачи, связанные с изучением Полярного бассейна. Но экспедиция ушла в море уже после его смерти.

Ломоносов был подлинным преобразователем русской поэзии. «Петром Великим русской литературы» назвал его В. Г. Белинский. Для этого нужен был гигантский труд и талант Ломоносова. Потребовалось не только решительно порвать с прежней традицией стихосложения, обновить поэтический словарь и синтаксис, ввести новые значительные темы и т. д. Русская поэзия обрела неведомую ранее звучность и живописность. Это было новаторство необычайной силы.

Поэзия Ломоносова выросла на прочной народной основе. Необыкновенное чувство русского национального языка, во всех его оттенках, позволило ему расчистить и обновить пути русской поэзии и указать ей верное направление. Ломоносов был замечательным знатоком рус-

⁶ Платон (428–348 гг. до н. э.) – древнегреческий философ.

⁷ Имеется в виду Ньютон Исаак (1643–1727), английский физик и математик.

ского языка, он заботился о его чистоте, боролся против засорения его иностранными словами. В своей «Российской грамматике», первой научной грамматике русского языка, он впервые четко разграничил русский общенародный и старославянский языки. В «Риторике» он разработал вопросы стилистики, имевшие большое значение для развития русской поэзии.

Ломоносов написал несколько десятков похвальных и духовных од, стихотворения, а также прозаические произведения. Форму од он выбрал, ссылаясь на пример античной поэзии, и продолжал в своих «похвальных словах» традиции придворного панегирика⁸ петровского времени. Но гений Ломоносова сумел вложить в оды страсть и пафос нового содержания: они полны праздничности, необыкновенной энергии, грандиозных образов и сравнений, четкого и выразительного ритма, движения, чувства природы, но в то же время и мотивов демократического протеста.

Открылась бездна, звезд полна;
Звездám числа нет, бездне – дна.

Никто не уповай вовеки
На тщетну власть князей земных:
Их те ж родили человеки,
И нет спасения от них.

Творчество Ломоносова отразило рост национального самосознания русского народа. Поэт воспитывал своей поэзией в русских людях чувство национальной гордости и патриотического долга. Его поэзия в итоге была обращена к народу и служила народу, отражая стремительное развитие могущественного русского национального государства, и как бы воплощала в себе бурную энергию и созидательную силу великого русского народа.

Ломоносов умер 4 (15) апреля 1765 года в Петербурге. Его смерть отозвалась глубокой скорбью по всей стране. Похороны состоялись 8 апреля 1765 года в Александро-Невской лавре при невиданном стечении народа.

Имя Ломоносова проникало в самые отдаленные уголки России, оно увлекало и звало за собой, окрыляло мечтой о науке выходцев из народа, поддерживало и ободряло их на тернистом пути к знанию и культуре.

Александр Морозов

⁸ П а н е г и р и к – ораторская речь хвалебного содержания.

От редакции

Эта книга о великом русском гении состоит из двух повестей: «Крестьянский сын Михайло Ломоносов» С. А. Андреева-Кривича и «Повесть о великом поморе» Н. А. Равича.

Русский советский литературовед Сергей Алексеевич Андреев-Кривич (1906–1973) родился в Пятигорске. После окончания школы он поступил на филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и окончил его в 1930 году. Уже в 1931 году он начал печататься. Много внимания в своем творчестве он уделял исследованиям о жизни и деятельности знаменитых людей России: М. Ю. Лермонтова, М. В. Ломоносова, А. И. Герцена.

Сергей Алексеевич прошел фронтовые дороги Великой Отечественной войны. После окончания войны выходят в свет его основные книги, посвященные творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова. Он выяснил исторические источники поэмы «Измаил-Бей», обнаружил новые данные о кабардино-черкесском фольклоре, отразившемся в творчестве Лермонтова. Этой теме писатель посвятил книгу «Нарты. Кабардинский эпос» (1957), в которой опубликовал произведения кабардинского народного творчества. В книге «Тарханская пора» (1963) он мастерски соединил подлинные рассказы о жизни поэта в Тарханах и научное исследование его творчества. Писатель впервые опубликовал в ней записанные им уцелевшие народные песни, бытовавшие на родине поэта. В книге «Всеведение поэта» (1973) он закончил свои исследования и разыскания о М. Ю. Лермонтове.

Перу С. А. Андреева-Кривича принадлежат две повести о жизни и деятельности Михаила Васильевича Ломоносова: «Крестьянский сын Михайло Ломоносов» (1960) и «Может собственных Платонов...» (1968). Первая посвящена отрочеству Михайлы Ломоносова и периоду, когда он выбирал свой жизненный путь вопреки всем преградам. Писатель долго изучал крестьянскую жизнь поморского Севера, фольклор рыбаков, народные песни и сказания. Он привлек новые материалы и приоткрыл завесу над такими обстоятельствами биографии Ломоносова, которые долго оставались неясными. Сергей Алексеевич собрал все данные, что известны об этой поре жизни Ломоносова, и построил повесть на документальном материале. Вторая повесть рассказывает о тернистом пути гениального «архангельского мужика» и становлении и деятельности ученого.

«Повесть о великом поморе» принадлежит перу русского советского писателя Николая Александровича Равича (1899–1976). Он родился в Москве в семье врача. В молодости был участником Октябрьской революции и Гражданской войны; в 1921–1926 годах находился на дипломатической службе. В мемуарах «Молодость века. Война без фронта» (1960) писатель рассказал о событиях, свидетелем которых был в период Гражданской войны, о подпольной работе в Белоруссии, оккупированной Польшей, о службе в штабе Юго-Западного фронта, а также о работе в Афганистане и Турции в годы национально-освободительного движения в этих странах, когда по роду деятельности ему приходилось встречаться со многими выдающимися людьми.

Н. А. Равич начал печататься с 1926 года. Он автор многих пьес: «Шестая мира» (стихи А. Жарова; 1931), «Завтра» (1932), «Чай» (1933), «Ошибка профессора Воронова» (совм. С. Никифоровым; 1935), «Снег и кровь» («Машинист Ухтомский», 1934) и др., – а также киносценариев: «Торговцы славой» (1936), «Суворов» (совм. с Г. Гребневым; 1940). Роман «Две столицы» (1962) писатель посвятил А. Н. Радищеву и Екатерининской эпохе. Большое место в творчестве Равича занимают очерки о зарубежных странах: «По дорогам Востока» (1958), «Размышления в пути» (1961), «В новой Германии» (1961), «В центре Европы. Чехословацкие зарисовки» (1962), «Австрийская мозаика» (1964), «По дорогам Европы» (1964), «Из гол-

ландской тетради» (1965), «Румынская весна» (1967) и др. Некоторые произведения писателя переведены на иностранные языки.

Н. А. Равичу принадлежат также очерки в жанре литературного портрета известных людей его времени: А. Н. Толстого, М. Кольцова, А. В. Луначарского, А. М. Коллонтай, Ф. Э. Дзержинского и др. Он был также переводчиком книг с французского и польского языков.

«Повесть о великом поморе» написана в 1947 году. Автор рассказывает в ней о борьбе гениального русского ученого против засилья немецких ученых в Петербургской академии наук, за открытие университетов в России и доступ в них самых широких слоев народа, без различия сословий. И эта деятельность Ломоносова дала всходы: талантливые русские люди стали учеными – химиками, физиками, географами. При его поддержке появилась плеяда замечательных русских художников и скульпторов (многие из них были крепостными, и без помощи Ломоносова их талант пропал бы напрасно). Н. А. Равич дал очерк жизни и деятельности ученого в основном во время царствования Елизаветы Петровны и красочно описал деятелей ее эпохи и придворных.

С. А. Андреев-Кривич КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ

*Великий характер, явление, делающее честь человеческой природе
и русскому имени.*

В. Г. Белинский о М. В. Ломоносове



Глава первая КАПИТАН БРИГАНТИНЫ ОШИБСЯ



Ранней весной легли на курс от Курострова поморские суда. Отчалив от крутого берега Куропёлки, на котором стоит сбегаящая избами к воде деревня Мишанинская, пошел по Северной Двине на Архангельск и ломоносовский гуккор⁹ «Чайка», на Архангельск и дальше – к Белому морю и за Святой Нос, в океан. Новый мореходный год, 1728-й, начался.

Идет в плавание ломоносовский корабль. На курс легли рано, с зарей. Жесткие, набухшие влагой от проморосившего поутру дождя паруса выдались вперед крутыми полукружьями; подавшись на правый борт, гуккор роет носом волну, поднимается на встречный большой вал, оставляя за кормой пенную грядку.

Большая двинская вода спала, река посветлела и легла в берега. По заплескам* разбросан обломанный и обтертый льдом выкидной лес-плавун и спутавшиеся корнями лохматые пни-выворотни, обсохла нанесенная в половодье на кусты прибрежного тальника трава.

По левому борту осталась Курья, погост* и церковь. Идут двинские берега, то устланные у крутого ската дресвою*, то плавно врезающиеся в воду отмелями из тонкого наносного песка.

Вот уже в последний раз вспыхнул весенний солнечный свет по влажной гряде Палишинского ельника*. Речная излучина, поворот – и родной берег пропадает за густой порослью уже набравшегося листвой прибрежного ивняка. Река пестреет серыми тугими парусами.

Тихо на судах. Идут поморы* на нелегкий и опасный морской промысел. Как-то вернутся они домой? Ведь почти каждый год бывает, что, не встретив среди возвратившихся куростровцев мужа, или отца, или жениха, вскинет высоко руки и зарыдает жена, или дочь, или невеста...

Думается плывущим в море о своей жизни и судьбе. Но больше чем кто-либо другой думает об этом Михайло Ломоносов.

Уходя в плавание, Василий Дорофеевич Ломоносов, Михайлин отец, был особенно озабочен.

Михайле уже шестнадцать, семнадцать, и не в первый раз он идет с отцом в море. Шесть лет он помогает отцу на судне. И давно Василий Дорофеевич решил, что хороший у него помощник растет. Еще как в первый раз ходил Михайло на море на только что состроенном тогда гуккоре «Чайка», случилась за Святым Носом буря. Когда с севера краем стала заноситься в небо аспидная* океанская туча, вдруг налетел вихрь. Не все паруса успели снять, и в неубранный парус так ударило шквалом, что судно сразу же достало до воды бортом. Когда стали рвать парус, веревка застряла высоко на мачте. Никто не успел еще опомниться, а

⁹ Звездочкой отмечены слова и выражения, значение которых даны в примечаниях в конце книги.

Михайло уже залез на мачту и срубил топором веревку. Парус упал. Гуккор зашатался с борта на борт, выровнялся, опасность миновала.

«Хорошо носишь свое имя, Ломоносов, – сказал ему в тот день отец, – хорошо. – И, осмотрев Михайлу с головы до ног, добавил: – Человеку на море первое испытание».

А когда Василий Ломоносов видел, как ловко Михайло справлялся и дома по хозяйству, и в поле, еще больше тогда он убеждался, что сын в делах ему – первый пособник.

Перед самым отплытием Василий Дорофеевич заперся с сыном наедине. Беседуя с ним, он сказал:

– Вот что, Михайло. Мы, Ломоносовы, вековечные здесь, в Двинской земле, на Курострове и в Мишанинской деревне, где и ты родился. Вон об Артемии Ломоносове, что при Грозном еще царе¹⁰ жил, по старым памятям знают у нас. Ну а никогда в нашем ломоносовском роду того, чего достиг я, не бывало.

Хозяйство Василия Дорофеевича пошло от общего ломоносовского, во главе которого долгие годы стоял самый старший Ломоносов – Лука Леонтьевич. Но прошло время, и отделился Василий Дорофеевич. Размежевали они старинный ломоносовский надел пахотной земли, поставил Василий Ломоносов свой дом и стал сам по себе, своим разумением, счастья и прибýtка искать. Минул недолгий срок – пошло его хозяйство в гору, соорудил он себе новоманерный гуккор. Большое по здешним достаткам дело. Глядят, бывало, на ладное судно Василия Ломоносова куростровцы и похваляют: добрый, мол, корабль. А хозяин при этом довольно промолвит: «Помалу в труде достатка прибывает».

Вот стоит на идущем по Северной Двине гуккоре перед Михайлой Ломоносовым его отец – высокий, крепорукий, смелый. Со всяким делом справится и не сдаст перед любой опасностью.

Однажды шли они по осеннему океану домой. К ночи упал резкий ветер, сразу заходила волна. Чуть ли не сутки носил и метал океан «Чайку», и все это время не отходил от румпеля отец, не пил, не ел и вывел-таки судно, спас и людей, и корабль от гибели. Хорошо запомнилось Михайле лицо отца в свете качающегося во все стороны корабельного фонаря, склоненное над компасом, мокрое от холодных водяных брызг, серое, каменное. Только тогда снял отец с румпеля* занемевшие руки, когда вогнал гуккор промеж двух узко сошедшихся скал, вогнал точно посредине, меж ходивших у их подножия бурунов, и ввел его в спокойную губу*.

Что же, жизнь у отца под рукой. Но только ли в отцовской жизни мера? Может, есть и еще какая другая жизнь? Большая?

Продолжая разговор с сыном в тот день перед отплытием, Василий Дорофеевич сказал ему еще:

– Ныне я, сам знаешь, при особом еще занятии. В «Кольском китоловстве»* состою и к Груманту* на китовый бой хожу. В прошлом годе, как там на корабле «Грото-Фишерей» был, на всякое довелось наглядеться. Не без опасности дело. В этом году туда же на китобое «Вальфиш» пойду. С кораблем всякое случается. «Грунланд-Фордер», к примеру, помнишь?

Про это все хорошо помнили. Несколько лет назад «Грунланд-Фордер», принадлежавший «Кольскому китоловству», разбился у Зимнего берега*. Все люди погибли.

– Ну и с гарпуном* около кита нелегко... – вздохнул Василий Дорофеевич. – По морскому делу и с жизнью и со смертью запросто. Ты же мне наследник. Ну, это так, про всякий случай. А вот что хочу тебе сказать: пора уже тебе к делу полностью поворачиваться, руки на него класть. Делу нашему, ломоносовскому, ход должен быть.

¹⁰ Речь идет о царе Иване IV Грозном (правил в 1547–1584 гг.).



То, что происходит с Михайлой в последнее время, – это ничего. Так думалось отцу. С кем подобного не случилось? Мечтание... Вот эти новые его книги. Перегорит... Ведь от тринадцати лет до пятнадцати был Михайло в старой вере*, сам к ней пришел. Ну и ушел обратно. Перегорело. Голова-то у парня на плечах есть. Поймет он, что его, Василия Ломоносова, правда крепкая.

Отцовская правда – правда ли? В чем же его жизни быть? Есть о чем задуматься сейчас Михайле Ломоносову.

Идет на Архангельск гуккор «Чайка». Под всеми парусами вышел он на Северную Двину у Спасского погоста. Это приметное для поморов место.

Выше по течению Северная Двина разбилась на рукава-полои*, самые большие из которых Курополка, Быстрокурка, Богоявленка. Пройдя по полям у намытых течением песчаных кос и поросших густым тальником отмелей, пробившись через угористые глинистые берега, здесь, у Спасского погоста, двинские воды снова собираются в одно русло. Вновь Северная Двина одним течением идет от берега до берега через матерую землю, и по всей речной ширине в ветровую погоду опять от края до края катится одна шумящая косая волна. Здесь начало большому плаванию.

Еще шесть лет назад Лука Леонтьевич Ломоносов, знаменитый беломорский кормщик*, дал Михайле подержать здесь руль корабля – окрестил его поморским крещением, самый старший Ломоносов самого младшего.

Вот уже с далеко видными старинными монастырскими церквями показалась за придвинскими лесами на высоком берегу Лявля. Завтра «Чайка» будет в Архангельске.

Свечерело. Некоторые суда отвернули к берегу на ночевку. Те, что продолжали еще идти в падающих сумерках, зажгли корабельные огни, вытянулись в одну линию и сторожко шли друг за другом. По ночной реке плыть под парусами непросто.

Прокладывает путь ломоносовский гуккор. Стоя у руля, ведет его всматривающийся в сгустившуюся над водой мглу Михайло Ломоносов, кормщик.

В Архангельске пробыли недолго. Взяв поручения на компанейском дворе «Кольского китоловства» к директору китоловства, бранденбургскому торговому иноземцу Соломону Вернизоберу, гуккор «Чайка» пошел на Колу.

Отчалив от Гостиного двора*, опять идет «Чайка» по Северной Двине. Подкатывает под нос корабля встречная невысокая волна, скрипят мачты, тихим шумом шумят паруса.

Отец подошел к стоявшему у борта Михайле.

– Сомневаешься? Отцовской правде не веришь? Так вот, когда срок подойдет, примешь, стало быть, мое, а там, давай Бог тебе удачи, и дальше пойдешь. Достатку-то и еще прибу-

дет. На тебе, Михайле Ломоносове, наш старый ломоносовский род самой большой высоты и достигнет.

Отец говорил о таком, что должно было его, Михайлину, жизнь решить. Кем же ему, Михайле Ломоносову, быть?

Минуло два месяца.

Китобой «Вальфиш» делал последние приготовления перед отплытием из Кольского острога к Груманту, и вместе с кандалакшанином¹¹ Степаном Крыловым и иноземцем Аврамом Габриэльсом, которые также в этом году должны были участвовать в китовом бое, готовился к выходу в океан Василий Ломоносов. «Чайка» же шла к Курострову, спеша домой к сенокосу. Делу не должен быть ущерб, рассудил хозяйственный Василий Дорофеевич и, готовясь к уходу на китобойный промысел, распорядился, чтобы сын плыл домой и справлялся бы уже в сенокосную страду сам.

В эту пору из Голландии, Англии, Испании и других заморских стран сходились к Архангельску груженные товарами купеческие корабли. В большом караване, который вел под охраной военный многопушечный фрегат*, плыла к Архангельску и голландская двухмачтовая бригантина*.

Капитан бригантины в русский порт пришел впервые. Еще в Амстердаме много говорил он со своим старым другом, долго жившим в России. И сейчас, когда бригантина медленно подтягивалась к насланной от берега в Двину корабельной пристани, голландский капитан не отрываясь смотрел в подзорную трубу на открывавшуюся его взору русскую землю.

Ему вспоминалось то, что говорил его амстердамский друг. И так же как и тогда, он отрицательно покачивал головой и повторял ту же фразу: «Piter. Kaptein Piter»¹². Так он отвечал в Амстердаме старому приятелю, рассказывавшему ему о России.

Все сделал Петр. Один. Но он умер. Об этом говорил капитан. И что? Россия победила Швецию? Полтава?* Гангут?* Да! Но победа в войне – не полная победа. Она иногда может быть даже обманчивой. Даже вредной. Народ должен уметь победить в труде. Вот настоящая победа! Созидание. А для этого нужны науки. Есть они в России? Только тот народ достоин будущего, который способен рожать собственных Платонов, Ньютонов. Да и есть ли у Петра преемник?

И недоверчивый капитан качал головой.

Нет...

Все это и вспоминается ему сейчас. Он медленно обводит подзорной трубой все протяжении берега и снова качает головой. На его лице надменная усмешка.

Нет...

Капитан поворачивается к реке. Первый, второй, третий парус прошли в кругу подзорной трубы. Ненадолго взгляд капитана бригантины задерживается на двухмачтовом судне, ловко сделавшем сложный маневр. Но уже через мгновение взор его безразлично скользнул по фигуре стоявшего у руля молодого кормщика, даже не остановившись на выведенном по борту названии «Чайка». И снова немало на своем веку повидавший голландский капитан отрицательно покачал головой.

Нет...

¹¹ К а н д а л а к ш а н и н – из села Кандалакша.

¹² Петр. Шкипер Петр (гол.).

Глава вторая ОБОЖЖЕШЬСЯ – ТОЖЕ УЧЕНИЕ

Пройдя полосу до того места, где луг упирался в частый низкий кустарник, Михайло поднял косу, отер ее пучком срезанного осота, положил на плечо и пошел по скошенному полю вниз, к дороге.

Над лугом стоял запах только что упавшей под косой росистой мягкой травы. Открывшаяся земля сильнее отдавала сыростью. От корней тянуло застоявшейся прелью и сладким духом почвенных соков. Поднявшееся уже высоко июльское солнце провяливало длинные ряды травы, которыми вплоть до леса был уложен луг.

Время близилось к полудню, надо было кончать на сегодня сенокос. Роса с травы уже сходила.

Дойдя до ветвистой ветлы, которая стояла у самой дороги, Михайло присел отдохнуть, выпил квасу из глиняного запотевшего кувшинчика, вытер губы рукавом холщовой рубахи, смахнул соленый пот, который каплями струился по лбу и ел глаза, и устало и сладко потянулся.

На соседней пожне*, не замечая, что Михайло уже кончил работу, широко махал косой деревенский сосед Ломоносовых, Шубный.

– Эй, эй! Иван Афанасьевич! Кончать пора!

Когда Шубный и Михайло уже вышли на дорогу, которая изгибом подходила почти к самой ломоносовской усадьбе, из-за поворота навстречу им показался одетый в заплатанную рубаху старик. За спиной на двух веревках у него болтался заплечный мешок. Старик шел тяжело, опираясь на посох. Михайло и Шубный не сразу его узнали.

– Э-э, Михайло! – приветливо сказал старик.

– Дядя Егор...

– Чай, не признал?

– Да малость ты...

– Верно, верно. Полтора года странствую. И в стужу, и в мокрядь. Не красит, не красит...

Ох, нет! В скитах был, в скитах*. Спасался. От мерзости. Отдохну теперь – опять пойду. В Выговскую пустынь* пробираться буду. Там, у Денисовых, древнее благочестие¹³ блюдетя. Пойдешь со мной?

– Зачем Михайле в Выговскую пустынь? – спросил Шубный.

Старик только хмуро поглядел на него, не удостоил ответом и продолжал:

– Был я в Пустозерске, где протопоп Аввакум* жил и в огне преставился, не желая принять никонианскую ересь. Мученическую смерть прияв, во блаженстве теперь обретается. Вот щепу от ограды дома, в котором Аввакума сожгли, несу.

Он снял заплечный мешок, достал из него кусок дерева и бережно протянул Михайле щепу.

Что бы сделал сам Егор при таком случае? Осенил бы себя крестным знаменем. А не то припал устами. Может быть, след руки великого страстотерпца запечатлен на этой щепе!

Михайло не двигался.

– Давненько ты, дед, здесь не бывал, давненько... – сказал Шубный. – Михайло уж когда раскол оставил.

Дед недоуменно поглядел на Михайлу. Потом раскрыл мешок, чтобы положить туда щепу.

¹³ Д р ё в л е е благочестие – старая вера.

– Э-хе-хе-хе! Стало быть, Михайло, ты вроде той махавки*, что по ветру то туда, то сюда поворачивается? Выгоды, что ль, больше у никониан? Это ты тогда рассудил правильно. У нас-то, кто древлего благочестия держится, кроме страдания, ничего...

– Страдание велико правдой...

Дед посмотрел на щепу. Что это – не кровь ли святого страдальца выступила на ней? Вот и лица Михайлы и Шубного поплыли в сторону в красном тумане, расплываются... Будто смеются Михайло и Шубный... Смеются?

Ни тот ни другой не смеялись.



Страшный крик вырвался из груди деда.

– А-а-а! Кошунствуешь? Нет правды в древнем благочестии?

Дед высоко занес посох и изо всей силы опустил его на Михайлу. Но Шубный успел схватить старика за руку, удар не пришелся в голову, и палка, лишь скользнув по руке, с силой ударила о землю и отлетела в сторону. Михайло стоял бледный, но спокойный, не двинувшись с места.

Рубаха Шубного распахнулась, и из-под нее выбился нательный крест.

Сумасшедшими глазами дед смотрел на серебряный крест – четырехконечный, никонианский!

– Крыж! Крыж! Латинский!

Ведь святой крест только об осьми концах! А это – крыж! Так называют крест поляки – католики! Этот четвероконечный крест чтут и никониане, ругающиеся над истинной верой!

– Никонианы! На лбу клейма! Огненные! Вот! Вот! Горят!

Дед отшатнулся. На лице его изобразился ужас, он весь затрясся.

– Меченые! Меченые!

Несколько мгновений все трое стояли неподвижно. Наконец дед рванулся вперед, к Шубному, чтобы сорвать с его груди четырехконечный латинский крест, сорвать и истоптать ногами, вколотить в дорожную пыль! Но нога его попала в глубокую колею, он покачнулся, не устоял и со всего размаха упал на землю. Михайло бросился поднимать деда, но тот лежал не двигаясь, закрыв голову руками.

Шубный тихо тронул Михайлу за плечо:

– Пойдем...

Как Михайло ушел в раскол?

И на Курострове, и в Холмогорах было много старообрядцев – и явных, и тайных. В 1664 году, направляясь в далекую ссылку, более трех месяцев прожил в Холмогорах сам глава раскола, неистовый протопоп Аввакум.

По всему Северу шла яростная пря¹⁴ о старой и новой вере*.

В зимний день Михайло возвращался из Холмогор. По верхней куростровской дороге он подъезжал к своей деревне. В Екатерининской церкви только что отошла обедня, и под колокольный звон прихожане выходили за церковную ограду.

Лошадь бежала рысью. Крепко упершись ногами в устланное соломой дно саней, Михайло во весь рост стоял в розвальнях*.

Собравшуюся у ворот толпу он увидел издали.

Толпа обступила что-то возбужденно говорившего старика. Михайло узнал деда Егора. Тот «обличал»... «Никониане» улыбались, раздавался смех, деда стали теснить к ограде, понемногу поталкивать. Но смеялись далеко не все. У некоторых загорался злой огонь в глазах. Вот уж к деду потянулись руки.

Когда Михайло подъехал вплотную, дед уже стоял прижатый к ограде. Высоко поднимая руки для защиты, он продолжал выкрикивать обличения. Михайло подоспел вовремя.

Он ударил кнутом лошадь, и она пошла грудью на людей. Толпа раздалась. Соскочив с саней, в большом овчинном тулупе, не выпустив из рук кнута, он прошел через толпу. Когда Михайло, посадив в сани старика, тронул лошадь, никто еще не успел опомниться. Михайле было в то время около 14 лет, но у него были уже широкие плечи и не по годам он выдался ростом. И все хорошо знали нешуточный нрав молодого Ломоносова.

Михайло отвез старика домой и в следующие дни несколько раз к нему заходил.

Дед был старообрядцем-беспоповцем. Беспоповцы не признавали не только попов, но и вообще церковь.

Старик хорошо помнил самого Аввакума. Многие годы просидев в срубе, в пустозерской земляной тюрьме, протопоп 14 апреля 1682 года был вместе с попом Лазарем, иноком Епифанием и дьяконом Федором сожжен «за великие на царский дом хулы».

Рассказывая как-то Михайле об Аввакуме, о том, как люто боролся он против патриарха Никона, который ввел в богослужение неслыханные новшества: отрекся от двуперстного крестного знамения, заставил креститься тремя перстами и молиться по кошунственно исправленным книгам, – старик обмолвился теми словами, которые произвели глубокое впечатление на молодого Ломоносова: «Не думай, Михайло, будто только тем и живо проповеданное Аввакумом истинное благочестие, что супротив отступника Никона он поднялся. Нет. Супротив тех, кто неправо над народом властвует, Аввакумова проповедь воздвигнута. Походил я по Руси. Случилось мне. Народу-то не везде легко-весело. А проще сказать: тяжко. Так-то».

Задумчивый шел Михайло в тот день домой. «А может, и в самом деле, – думал он, – в старой вере та правда, которая и для народа, и для каждого человека все решит?»

И Михайло Ломоносов стал ходить к раскольникам в их часовню, слушать надрывные и страстные раскольничьи беседы.

Темны были эти беседы... И того, что хотел узнать Михайло, испытующий правду старой веры, он так и не узнал.

«Да теми ли руками беду народную разводить? – думалось ему. – Старая ли вера своей правдой всю неправду на земле истребит?»

Он еще усерднее стал читать книги, которые с трепетом раскрывали искавшие истины неистовые Аввакумовы ученики.

И одну за другой, ничего не решив, закрывал Ломоносов тяжелые крышки этих больших книг.

В ту пору все более громкой становилась слава о Никольской пустыни*.

¹⁴ П р я – спор.

За лесами, в еловой чаще, на отшибе, отдалясь от сел и деревень, стал огородившийся частоколом скит, в котором учил справедливости умудренный в жизни и в старой вере старец Исаакий.

Туда-то и отправился Михайло Ломоносов.

После первых же Михайлиных слов, даже не дослушав до конца, старец сказал:

– Ты веры ищешь гордыней. Хочешь ее постигнуть сначала разумом. И ежели разум к ней приведет, тогда к подлинной вере и полагаешь обратиться. А веры искать надо смирением, не мудрствуя лукаво. – Старец усмехнулся: – Вдруг разумом веры-то не найдешь? А? Может, у разума и силы такой нету, и зрения такого? Бог дал человеку разум, но не дерзновение. И пойми ты, умная голова, что человеку прежде всего нужно. Что? Утешение ему нужно. Страдания человеку много. Утешение же в вере. Побудь у нас, однако. Приглядишься. Искатель, видно, ты.

В Никольской пустыни в хорошо срубленных и толково поставленных кельях* в ту пору жило уже около восьмидесяти человек – мужчины, женщины, дети. Большею частью это был бедный люд. Здесь они были сыты, обуты, одеты.

Находясь в пустыни, Михайло встречал спокойные взоры людей, которые жили, не боясь завтрашнего дня. И разные мысли стали приходить в голову Михайле Ломоносову.

И вот наступил тот день...

Уже когда упали сумерки, в огороженный высоким частоколом двор Никольской пустыни с быстрого хода ворвался конный гонец. Сорвавшись с тяжело водившего боками взмыленного коня, гонец без промедления и доклада бросился прямо в келью к Исаакию. Выслушав приискавшего из деревни Гаврилихи, что была в 15 верстах* от скита, Исаакий поспешно отправился к Максиму Нечаеву, также пустынножителю, богатому мужику из той же Гаврилихи, снабжавшему пустынь за свой счет хлебом и другими припасами.

Встревоженные скитники с беспокойством поглядывали на келью, в которой совещались Исаакий и Максим.

К Никольской пустыни подступал большой воинский отряд.

На раскольничий скит уже давно косился шенкурский воевода Михаил Иванович Чернявский. И когда до него дошла весть, что из деревни Гаврилихи в Никольскую пустынь ушло еще несколько семей, он решил не откладывать более дела.

Снарядив воинскую команду, Чернявский отправился в путь.

По путаным лесным тропам, взяв в Гаврилихе понятых, шенкурский воевода ранним утром подступал к тревожно насторожившейся пустыни.

Исаакий и Максим, посоветовавшись между собой вчера, уже все решили. И потому безо всякого ответа отдали обратно посланцу Чернявского письмо, в котором воевода требовал сдачи всех раскольников.

Солдаты обложили пустынь.

Вновь Чернявский потребовал сдачи. Ответом ему было только молитвенное пение собравшихся в часовне пустынножителей.

Исаакий и Максим приступили к совершению страшного обряда.

Раскольники стояли безмолвно на коленях, рядами, в белых чистых рубахах. Оба учителя прошли между ними и наложили на каждого, не обойдя ни одного человека, ни взрослого, ни малолетнего, бумажные венцы, на которых красными чернилами был обозначен праведный восьмиконечный крест.

Проходя по рядам и благословляя ставших на свою последнюю молитву, Исаакий и Максим повторяли:

– Мы за старую веру в часовне сгорим все, и в сих венцах станем все пред Христом.

– Сгорим все до единого человека! – несло под своды часовни.

Берёста, сухая солома и черное горючее смолье были заранее подложены снизу под всю часовню. И как только Максим Нечаев, выйдя из двери наружу, бросил под часовню пылающий факел, все вспыхнуло в одно мгновение.

Поспешно вернувшись в часовню, Нечаев крепко изнутри закрыл ее замком, чтобы не было греха тем, кто вдруг усомнится в огненном крещении. Наружу были выставлены только четыре человека, которые должны были оборонять дверь от солдат, стреляя в них из ружей.

Именно выстрелы и услышал Михайло, когда быстро шел по дороге к пустыни.

Еще вчера вечером Исаакий сказал Михайле:

– Чуть рассветёт, уходи отсюда, иди домой. Учению твоему у нас конец. Иди и думай. Покуда еще не вполне наш. И к тому, что случится, пока еще не готов ты. А это требует всей души.

О чем темно и намеком говорил Исаакий? Трудно было понять. Но, слушаясь приказания, Михайло ушел.

Пройдя коротким путем к Гаврилихе, откуда лежала дальнейшая дорога, Михайло узнал о том, что к Никольской пустыни направилась воинская команда. Как можно быстро он и пошел обратно.

Пламя гудело вокруг всей часовни, выплескивалось выше креста жирными багровыми взмахами, когда Михайло оказался у частокола.

Около двери уже никого не было. Пытавшиеся ее выломать солдаты толпились в стороне, обивая руками тлевшую одежду и протирая изъеденные дымом глаза.

Михайло взбежал по ступеням, схватил лежавшее подле убитого выстрелами раскольника ружье и стал прикладом бить в окованную железом дверь.

Удар, еще один удар, третий...

И не выдержавший страшных ударов приклад далеко отлетел в сторону. В руках у Михайлы остался ружейный ствол.

Закрывая рукавами глаза, он бросился вниз по ступеням.



Особенно надрывно кричала девочка. Ей было всего лет семь-восемь. Она мало еще что понимала и любила слушать сказки, которые рассказывала ей мать. Это ее голос. Вот он совсем ослабел...

Сбоку у разбитого окна суетятся солдаты. Им удалось вытащить из огня какую-то кричащую старуху.

Уже близко около часовни стоять невозможно. Цепь солдат раздается.

Слышны еще стоны и крики. Но кто-то громким, задыхающимся голосом читает молитвы.

Очнувшаяся старуха безумным взглядом поглядела на Михайлу и назвала его по имени.

Двое солдат подступили к нему и схватили за руки. Но Михайло так швырнул их, что они разлетелись далеко в стороны. Никем больше не удержанный, Михайло пошел прочь по лесной тропе.

С пригорка хорошо был виден скит. Остановившись на возвышении, Михайло смотрел на пожарище – вплоть до того мгновения, когда рухнувшая крыша бросила высоко над елями багровый вихрь огненных искр.

Сколько же их, крещенных огнем, осталось под сводами часовни – стариков, молодых, детей, мужчин, женщин? Больше семидесяти... В живых остались только трое из оборонявших дверь от солдат да старуха Анна Герасимова.

«И это всё, это всё? – думал Михайло, пробираясь тайными лесными тропами к себе домой. – Вот это и есть самая высокая правда, которой достигает Аввакумово учение?»

Ему припомнилось то, что услышал он в тот вечер.

«Враги же сами и помогут нам, – говорил Исаакий Максиму Нечаеву. – Труден тот подвиг, но, однако, Господу любезен. Блажен час сей, когда человек сам себя своей волей сожжет».

Михайло тогда не понял этих слов. Теперь он их понимает.

«Это и есть самое высокое утешение человеку на земле?» – без конца повторяет он, думая о том, что привелось ему повидать.

Прошло несколько месяцев, прежде чем отец однажды тихо сказал Михайле:

– Вот что. Не только что прямым учением человек учится. Обожжешься – тоже учение.

Глава третья

ПЕРВОЕ ОТКРЫТИЕ ЛОМОНОСОВА

Расставшись с Шубным, Михайло через боковой вход вошел на обнесенную изгородью усадьбу.

Он прошел мимо вырытого посреди двора небольшого прямоугольного пруда и направился к сараю.

Надо было отбить косу к завтрашнему дню. Он и принялся за дело. Но скоро дробный стук молотка об отбиваемую косу прекратился. Отложив в сторону косу, Михайло задумался.

Настланные по торфянику мостки заскрипели под быстрыми женскими шагами.

– Все думаешь? – спросила мачеха, подходя к пасынку.

– Все думаю.

– Ну и до чего-либо уже додумался?

– Покуда не до всего.

– И ума палата, а все еще не удумаешь?

– Случается.

– Дед-то Егор чуть было не убил тебя? Рассказали уж мне. Вот и пришла тебя проведать.

Что, думаю, с сыном?

– Спасибо, матушка. Знаю: всегда добра мне желаешь.

Мачеха метнула на него косой, недобрый взгляд.



Первая жена Василия Дорофеевича Ломоносова, мать Михайлы, умерла уже давно. Недолг был и второй брак: умерла и вторая жена. И теперь Василий Дорофеевич был уже в третьем браке. Ирина Семеновна, вторая мачеха Михайлы, женщина недобрая и гневная, не любила

пасынка. А как пришел этим летом Михайло с моря на сенокос, вроде как уж хозяином и распорядителем, мачеха и особенно стала злوبيться.

В самом деле, случись что с мужем – все достояние к Михайле перейдет. Он – хозяин, она – горькая вдова.

– Прежде чем сюда прийти, в твою светлицу заходила я, в ту, где думы свои великие думаешь да книги читаешь свои новые. Не там ли ты? Нету. Гляжу – и книг нету. Не в сундук ли ты кованный, что в углу там стоит, их спрятал да замок пудовый навесил? К чему бы их под замок?

– Про всякий случай. Думаю: никого вдруг дома, а тут – лихой человек?

– Лихой человек разве на книги твои позарится? Золото, что ль?

– Не золото, а все цена им есть. Уследит – все ушли, даже и ты, матушка, некому постеречь, ну и... – Михайло развел руками.

Ирина Семеновна не спешила, обдумывая ответ на Михайлину насмешку. Значит, он узнал о тех словах, которые она на днях сказала своей подруге, – что, в случае чего, она просто возьмет да и сожжет эти дьяволовы книги. Ведь к чему они? А к тому, что, научившись по ним, Михайло еще крепче за отцовское дело сумеет взяться.

– Смотри, Михайло, на смех не всегда ответом смех бывает.

– Уж кто как может...

– Узнал, стало быть. Что ж, это ты правильно: с наушниками да соглядатаями оно способнее. Так всегда и поступай. – И Ирина Семеновна пошла прочь.

«Темная страсть в мачехе дела себе ищет – и в чем-то найдет?..» – вздохнув, подумал Михайло.

Когда уже наступили поздние июльские сумерки, Михайло достал из кованного железом и закрытого на крепкий замок сундучка книгу и зажег свечи.

Он раскрыл ее на той странице, где были напечатаны слова, над которыми он так часто задумывался.

«И от твари творец познаваем», – прочитал он будто и незаметно между другими втеснившиеся в ровную строку слова. Они были помещены в самом конце предисловия, в котором объяснялось, для чего книга назначена. Теперь он их хорошо понимает. Но не так-то легко это далось.

Эту книгу, что сейчас лежит перед ним, ему дал почитать Василий Христофорович Дудин в начале прошлого года, после того, как порвал Михайло с раскольниками.

Вслед отцу и деду, известным холмогорским книжникам, таким же книжным человеком стал и Дудин. К нему-то, в недалеко от Мишанинской стоявшую Луховскую деревню, и зашел однажды Михайло уже после того, что он увидел в Никольской пустыни. В те дни он подолгу одиноко бродил по Курострову.

«Зайду к Дудиным, потолкую с Василием Христофоровичем, умный он, книги читает», – подумал Михайло, оказавшись однажды в зимний день на околице Луховской.

Когда Михайло стал рассказывать Дудину, почему он ушел от тех, кто держался старой веры, и сожалеть, что вот он прочитал много книг, а никакого ответа на то, что его так занимало, он так и не узнал, Василий Христофорович молча встал, подошел к полке, на которой плотным рядом стояли собранные дедом и отцом книги. Он выбрал из них две, одну тяжелую и большую, другую маленькую, крепко сжатую переплетом.

Передавая книги Михайле, Дудин сказал:

– Почитай-ка еще, особенно вот эту. – И он указал на большую книгу, стянутую медными застежками.

Что же это за книга, вот эта большая, и почему она так не нравилась раскольникам?

Когда Михайло уже оставил старую веру, он, случалось, при встрече с каким-либо раскольником вступал с ним в прения.

Однажды при таком случае он сказал своему собеседнику, седому старику:

– Вот в тех книгах, которые я когда-то читал, веру и Божественное деяние все страхом обороняют. Разве большая вера чего бояться должна? Все говорится: не смей постигнуть того, что постигнуть тебе не дано, не тщись*. Верь и не рассуждай. Страхом всё. А разве на страх так уж всегда уповать можно? Полная ли в нем истина?

– Так ли уж плох страх? Он, Михайло, часто человеку ко спасению. Вот возьми: случится тебе, к примеру, опасность, от которой и жизни решишься, а страх возьмет да и подскажет: берегись. Ты и остережешься. И спасен.

– Да ведь в таком разе не страх нужен, а разум.

– Это как когда. И разума твоего не на всех станет. Страх-то попроще и покрепче.

– И так ли уж никогда и не обманывает?

Раскольник подозрительно посмотрел на Михайлу:

– Это ты о чем же? А? Ой, смотри, Михайло! Беседуем мы сейчас промеж себя, а при ком другом подобное что не говори. Ни при наших, ни при никонианах. По головке никто за такое не погладит.

– Да ведь я только спрашиваю.

– *Покуда спрашиваешь...* – покосился на Михайлу раскольник.

И вот опять листал Михайло свою книгу. Зорко вглядывался он в напечатанные двумя красками – черной и красной – большие ее страницы, испещренные цифрами, столбцами, исчерченные фигурами, пересеченные секущими линиями.

Где же в человеческом понимании тот предел, за который разуму переступить нельзя и грешно? Что должен оборонять страх? И истине ли разума бояться? Кому от этого польза? Где же в знании начинается грех?

Вот эти слова: «И от твари творец познаваем».

И вдруг Михайле припомнились другие слова, сказанные ему еще дедом Егором: «Творец тебе во всем является: и человек, и зверь, и птица, и коловращение времен, и всё, что вокруг тебя, – всё дело рук Творца, во всем Он. И все им направлено к одной цели. Ты же то грешным разумом постигнуть не дерзай».

«Ну а тут, в книге, что говорится? – подумал тогда Михайло. – А тут говорится как раз противное тому. Все, что вокруг тебя, весь мир человек познавать может. Нет запрета! Наука не грех!»

Рассказывая после этого как-то о новой книге Семену Никитичу Сабельникову, дьячку местной церкви, у которого еще грамоте учился, Михайло сказал:

– В той книге все числом пройдено. И твердь небесная, и земля, и воды – все в числе находится. На первое место оно поставлено. А число и мера к человеческому делу в ней прикладываются. Ведь нужны и час, месяц, год, и вес, и длина пути, и счет дней жизни. И работа тоже мерой меряется. Никуда от счисления не уйдешь. Оно все проймет. Через него весь мир узнаешь. И через число он в твоих руках окажется.

– Навострился ты по своей новой книге, – вдруг раздался в полутемной трапезной* голос отца Василия, священника Екатерининской церкви, которого в сумерках ни Михайло, ни Сабельников не заметили. – Навострился. Только смотри, как бы твое число против Бога не стало.

– Оно не против Бога, а за жизнь человеческую. А хорошо человеку жить на земле – разве против Бога?

– Ну, ты не мудри, – ответил отец Василий. – А то мудрость еще заведет тебя куда не следует. Настоящая жизнь человеку на Небеси. Здесь же – юдоль*.

– А почему же страдание человеку в земной жизни настоящее, а настоящего блаженства, щедрот человек должен ждать в другой жизни?

– А ты думаешь, что страдание здесь настоящее? Вспомни-ка ад. В него и попасть нетрудно...

– Можно вспомнить и рай. В него попасть нелегко.

– Смотри, Михайло... – недобро покачал головой отец Василий.

«Страхом всё, страхом, – думал тогда после разговора Михайло. – И кто старой веры держится, и кто новой – всё одно. Разницы тут между ними никакой. Все считают, что разум против веры встанет. Разуму же должен быть широкий путь. А к делу он быстрее и лучше пройдет через науки».

Недолгая июльская ночь уже кончалась. Скоро по заре и на сенокос идти, а Михайло все сидит за книгами.

Склонясь к грифельной доске, он делает вычисления и чертит с особенным усердием.

Закрывая книгу, он еще раз пробегает стоящую на заглавном листе широко разогнанную надпись из больших красных букв: «Арифметика». Взглянув вниз, он читает отбитую двумя линейками строку: «Сочинися сия книга чрез труды Леонтия Магницкого».

Тугими медными застежками он крепко стягивает переплет этой большой книги, которая называлась «Арифметикой», но заключала в себе сведения и по алгебре, геометрии, тригонометрии, астрономии и многое другое.

Потом Михайло Ломоносов перелистывает маленькие, упругие, сухо потрескивающие страницы другой книги, тесно забитые мелкой четкой печатью.

Закрыв эту книгу, «Граматику словенския правильное синтагма» Мелетия Смотрицкого, полученную им от Дудина одновременно с книгой Магницкого, Михайло любовно проводит рукой по ее корешку, где через желтую кожу выдались три шнура, на которых были крепко сшиты листы книги.

Когда Михайло Ломоносов закрывал «Арифметику», перед его глазами мелькнула фраза: «Потребно есть науки стяжати...»

Потребно? Кому? Может быть, вот и ему отдать себя этому? Ведь есть же такие люди – ученые... Может, ему по книгам и идти?

Эта мысль возникла как-то просто, сама собой и будто даже не остановила на себе внимания. Но, улегшись в постель, он все не мог уснуть, и, когда пришли его будить, чтобы отправляться на сенокос, он еще не смыкал глаз. Он догадывался, что понял чрезвычайно для себя важное, но того, что он сделал первое свое великое открытие, Михайло Ломоносов еще не понял.

Глава четвертая

ЧЕРЕЗ ГОРДОСТЬ СВОЮ ПЕРЕСТУПИТЬ НЕЛЕГКО

«Арифметика» лежала на перевернутой вверх дном бочке. Михайло сидел подле на толстом обручке дерева.

В сарае пахло смоленным корабельным канатом и тянуло промысловым поморским духом – смесью запахов рыбного соления и копчения, прожированных бахил*, снастей, пропахших водорослями и горькой солью. Читая, Михайло слегка покачивался – запоминал.

Кто-то сзади кашлянул.

Михайло быстро обернулся и поспешно встал. Перед ним стояла мачеха. Погрузившись в чтение, он не заметил, как она вошла.

Ирина Семеновна прикрыла глаза веками, едва заметно, в угол рта, дернулись губы. Но спокойствия своего мачеха явно не хотела нарушать. Совсем спокойно она сказала Михайле, направляясь в угол сарая:

– А ты не пужайся, Михайло, не пужайся. Вон бочку свою чуть было не свалил. Не на воровстве, чай, застигнут. Дело благое: света-учености ищешь. Не пужайся...

– Да уж как не испужаться! Шутка ли?..

Темный огонь так и полыхнул в недобрых глазах Ирины Семеновны. Однако она сдержалась.

Мачеха села на бухту корабельного каната. Михайло стоял.

– Сядь!

Он сел. Оба молчали. В сарай вошел петух и привел кур. Увидев людей, он зло порыл землю и далеко отбросил ее когтями. Затем он нацелился одним глазом – для верности – поочередно на Михайлу и мачеху, нахально заворчал и вдруг, далеко выбросив голову, так пронзительно кукарекнул, что перепуганные куры даже упали от страха. Став на одну ногу, петух поднял хвост торчком и застыл как каменный. Тогда куры закрыли глаза и присели в пыль на мягкие грудки.

Ирина Семеновна кивком показала на раскрытую «Арифметику»:

– Даже в сарае ты предаешься, вникаешь. Приворот в науке есть, сила великая. Зашла я к тебе – тебя нет. И сундук не заперт. Открыла – книг в нем и нету. Ай жалость! Давно уж хотела в руках их подержать. Думала, может, пойму, чем они берут.

– А тут ты, матушка, как случилась? Ведь сарай-то этот от нас две версты без малого. Гулять, видно, шла, ну и зашла? Проведать?

– Проведать. Отец в море, ты – один.

– И как ты сразу нашла? Ведь никому не сказывал.

– Свет не без добрых людей. Сказали, что ты к Петюшке, своему другу сердешному, в их сарай повадился.

– Да. Вольготно тут. В стороне. Никто не мешает. И книги свои я теперь тут храню. – Михайло указал на стоявший в углу крепкий ларь с большим железным засовом. – Понимаешь, матушка, кто-то заходил к нашему кузнецу да просил сделать ключ – как раз такой, как у замка, что дома у меня на сундучке. Кто бы это мог быть? А?

Игра сразу кончилась. Злой дурман ударил Ирине Семеновне в голову. Когда она шла сюда, то еще не совсем понимала, что, собственно, будет делать. Но теперь она решилась.

Мачеха поднялась в рост, мгновенно выпрямилась. Яркий красный платок сорвался с головы на плечи, открыл лицо этой еще не старой, высокой, красивой и сильной женщины.

– А-а-а! Ты что же, не пужаешься? Больно смел? Бесстрашный? – Она яростно двинулась вперед, отбрасывая в стороны душивший ее платок. – А я тебе говорю: при тебе возьму! Понял?

Глаза у Михайлы сделались узкими. Он бешено заскрипел зубами и преградил мачехе дорогу.

На яростном лице Ирины Семеновны изобразилось презрение, и она рукой отстранила пасынка.

Михайло схватил мачеху за запястье.

Ирина Семеновна отдернула руку, отступила назад.

– Ты, ты!.. Что? На мать руку поднял? – Она задыхалась. – А-а-а! Вон что!.. Да пусть тебе и роду... который от тебя пойдет... пусть... ух... пусть до скончания времен...

Но проклятие не успело сорваться с мачехиных уст.

Из угла сарая, из стойла, уже давно смотрел на ярко-красный платок стоялый холмогорский бык. Когда же Ирина Семеновна двинулась вперед и ее платок пламенем взвился вверх, бык бешено надавил на дверь стойла, щеколда не выдержала, сорвалась, дверь распахнулась – и бык выскочил.

В то же мгновение еще новая беда приключилась.

Открывшаяся наотмашь дверь ударила изо всей силы петуха. Сумасшедший кочет гаркнул, от испуга сиганул под потолок, ударился о балку, тут он еще больше обезумел, еще раз посумасшедшему гаркнул и полетел к выходу. Куры издали оглушительный вопль, разом снялись с места и взвились за петухом.

Михайло невольно повернулся и все увидел. Бык быстро шел прямо на мачеху, нагнув могучую шею, по которой ходили желваки.

Бык шел на Ирину Семеновну со спины, она ничего не видела. И поняла она все только тогда, когда Михайло, успевший схватить обрубок дерева, служивший ему сиденьем, нанес быку по рогам удар. В это мгновение она обернулась, следя за Михайлой глазами. Если бы он не успел ударить быка, тот попал бы мачехе рогами прямо в живот. Опешившему быку Михайло быстро набросил на глаза лежавший рядом армяк* и налег на него изо всех сил плечом, стараясь сдвинуть с места и втолкнуть в стойло. Бык бешено замотал головой, стремясь освободиться от накинутаго на голову армяка.



– Уходи, уходи, матушка!.. – закричал Михайло.

Ирина Семеновна стояла белая как полотно, но с места не сдвинулась.

– Уходи!.. Вырвется!..

Мачеха словно окаменела.

Тогда Михайло так налег на быка, что тот все-таки подался назад. Затем Михайло закричал на него. Бык взвыл зло, а потом задом попятился в стойло. Схватив веревку, Михайло стал завязывать захлопнутую им дверь. Мачеха стояла не двигаясь.

На бочке лежала раскрытая книга. Михайло был в стороне. Ирина Семеновна посмотрела на книгу, потом перевела глаза на Михайлу. Книгу она не тронула. Вдруг ее посеревшие губы искривились.

– Изрядно, Михайло, изрядно! Ты за один раз спас и душу свою – от проклятия, и тело свое – от погубления. На себя опасность принял. На роду, видать, у тебя удача. – Мачеха кивком указала на книгу: – Твое, Михайло, твое. Заслужил. Высотой духа христианского. Боле не притронусь.

Она повернулась и не торопясь вышла из сарая.

Михайло стоял у входа в сарай и смотрел вслед мачехе. «Через гордость свою переступить не смогла», – подумалось ему. Он усмехнулся.

Глава пятая

ЧТО ЗАДУМАЛИ УЧИТЕЛЯ МИХАЙЛЫ

Иван Афанасьевич Шубный отправился к Сабельникову.

– Семену Никитичу...

Сабельников стоял у верстака и строгал доску. Ответив на приветствие Шубного, он отложил рубанок в сторону и, пригласив гостя сесть на сложенные у стены сарая бревна, сам сел с ним рядом.

– Покалякать с тобой, Семен Никитич. Дельце есть.

– Ну что ж...

– Вот о чем тебя спросить хочу. Как Михайло из раскола вернулся, тебе в церкви пособлял читать псалмы* и каноны* и жития святых, в Прологах* напечатанные.

– Как своему лучшему ученику, я ему и давал читать.

– Что-то давненько не слышал я Михайлы в церкви.

– Стало быть, не усерден ты стал в посещении храма Божьего, Иван Афанасьевич. Редко бываешь...

Под густыми усами Шубного проскользнула еле заметная усмешка.

– Может, и так... Однако давай-ка, Семен Никитич, говорить напрямки. Блуждает парень и может так сорваться, что и костей не соберет.

– Может.

– Так вот про что я хотел тебе рассказать. Был я третьёводни* в Холмогорах, в канцелярии, дело случилось. Ну вот, сижу я, стало быть, и дожидаясь. Приказный* вышел, и никого в комнате нет. Прискучило это мне сидеть. Дай, думаю, похожу, ноги затекли. Пошел я, а на столе книга большая раскрытая лежит, исповедная книга по холмогорскому соборному приходу. Взглянул я по любопытству; переложил один лист, другой. И вот вижу – Ломоносовы. И там значится, что Василий Дорофеевич Ломоносов и законная его жена Ирина Семеновна были у исповеди. И тут же проставлено, что Михайло Ломоносов в сем году, 1728-м, у исповеди не был. И написано, почему не был. По нерадению. Прямо так и написано. Запись та не для всех глаз, вроде тайная. И думаю так: дело о Михайле пошло куда повыше. Там ему решение и будет. Коготок увяз – всей птице пропасть. Видел я ту запись два дня назад. Ты мне ничего не сказывал. Стало быть, ничего о ней не знаешь?

Сабельников молчал.

– Ты что же? – спросил его Шубный.

– За такие дела наказание немалое.

– Вот и я так думаю. И по-всякому дело повернуть можно. А как ты да я – мы учителя его, которые грамоте еще наставляли и потом наукам обучали, то нам его и остеречь. Вот и давай совет держать. Потому к тебе и пришел.

– По этому делу?

– Мало ли?

– Нет.

Ни к кому не обращаясь, Сабельников сказал:

– Человеку в жизни к настоящему его месту приставать следует.

И, сказав это, он задумался. Вот он – дьячок местной церкви. И столько уж лет. Ему теперь пятьдесят шесть. Так, значит, всю жизнь на том и провековал. А ведь когда в подьяческой и певческой школе при Холмогорском архиерейском доме учился, первым учеником был. Ему эти мысли в голову часто и раньше приходили. И когда сам себе говорил он: сыт, мол, обут, одет, жена и дети не по миру ходят, будто успокаивался. Но, однако, ненадолго: червь начинал точить ему сердце, и понимал он, что не только такая, как его, жизнь и бывает.

Шубный же будто еще нарочно разбередил рану:

- И по книгам ты умудрен, читал много книг и умом суть пронизать любишь.
- Что ж, помалу мудрствуем. Не грех.

В голосе Сабельникова слышалась скрытая досада. Посмотрев искоса на Шубного, он спросил:

- Исповедуешь меня, что ли?
- А не только на исповеди правду говорить.
- О какой правде думаешь?
- О той, Семен Никитич, в которой человек, не боясь, сам себе признаётся. Самая большая правда.

– Ага! Ну-ка, прямо по ней, Иван Афанасьевич, теперь сам и признайся. Ты сам на своем месте ли? Достиг?

Шубный рассмеялся. Он смеялся долго и невесело.

– Эх, Семен, Семен!.. То ли ты, значит, больше преуспел, то ли я. И не разберешь. Не тягаться нам промеж себя, стало быть, – чья удача боле и чья пересилит. В Михайле-то крепкая хватка. Многое может осилить. Но что?.. Однако стороной мы пошли. Давай про дело, с которым к тебе пришел. Беду-то от Михайлы не отвратить ли как?

- А беды Михайле не будет.
- Это почему же?
- Михайло по весне болел и у исповеди быть не мог. Вовсе не по нерадению случилось это.

– Болел? Что-то не припомню. Какой такой болезнью?

– Обыкновенной.

– И, значит, ходить не мог?

– Как же это ходить, ежели он как в огне горел?

– По соседству живу-у, – протянул Шубный.

– Да и я недалеко. Как в Холмогорах я был, где нужно, о Михайлиной болезни и сказал.

Делу и конец.

- У тебя, Семен Никитич, сколько душ всего семейства-то?
- Сам восьмой. А ты что?
- Просто так. Ежели от службы тебя отрешат, что, думаю, будет?

Глава шестая СЕ ЕСТЬ ПЕТР

В прошлом году, на исходе зимы, собралась в одно из воскресений около деда Луки мишанинская и из соседней Денисовки молодежь, и стали его просить рассказать о царе Петре. Был здесь и Михайло.

Петр три раза бывал на Двине и Белом море. Деду Луке доводилось его видеть. Об этих встречах Лука Леонтьевич Ломоносов любил рассказывать. Особенно охотно вспоминал он об одной встрече с царем.

– Царей у нас до Петра не случалось, – начал дед Лука свой любимый рассказ о том, как еще в первый раз к ним на Двину и Белое море царь Петр приходил. – Видно, недосуг им был. Да и что на нас глядеть? Диковина какая?

Вот и достигла до нас весть: идет к вам царь Петр, русский государь, идет и скоро будет. С чем, думаем, идет царь? Не провинились ли? Не взыщет ли на чем? Цари-то со страхом ходят.

Уж потом вызнали. Задумал он об то время свое дело: державу Российскую на морях ставить. И приходил он к нам Белого моря смотреть, каково оно есть. Тридцать да еще с лишком годков тому уже.

Море наше Белое одно в то время было, по которому отпуск заморский российский совершался, по нему только корабли чужеземные к земле российской и плыли. Учрежден заморский торг был при Грозном еще царе.

В наших Холмогорах тому управа спервоначалу находилась, а потом, как Архангельский город построили в 70 верстах оттуда, там всему торгу место основалось.

В июле приплыл от Вологды на стругах* царь, шел по Сухоне, Двине, Курополке нашей, мимо Курострова и к Холмогорам приставал. Повидать его тогда мне не довелось. А как обратным ходом от Архангельска через Холмогоры шел на Москву в том году царь, по осени уже то было, лист падал.

Пришел царь на Холмогоры к самой ночи. А наутро на малом карбасе* не со многими людьми в Вавчугу плыл как раз мимо нас по Курополке. К Бажениным, ради смотрения их пильной мельницы.

Снарядил я карбасок и поплыл тоже в Вавчугу. Авось, думаю, царя повидать удастся. Никогда не видал. Каков он? Такой ли, как все люди, или другой?

Пристал я к тому месту, где вода через пильную мельницу идет, а потом ручьем в Двину падает. Поднимаюсь на угор, на котором наковальня большая баженинская стоит. Тут прямой путь к палатам баженинским. Прохожу мимо наковальни – двое высоченных парней молот в молот по якорному копыю бьют. Железо красное, из огня только, на подвесе висит, а наковальня баженинская стопудовая, что в землю вросла, гудит и будто под молотами припадает. Парни так и секут. В кожаных фартуках до плеч, руки заголены. Не иначе для самого царя стараются.

Прошел я мимо наковальни и к дому баженинскому, что на белом тесаном камне поставлен, иду. Тут и случись мужичишка наш куростровский, что службу Бажениным служит. «Скажи, – говорю, – нельзя ли как мне на государя нашего Петра Алексеевича, всея Руси, одним хоть глазом поглядеть, сподобиться? Больно уж надобно. Только боюсь: сунуть – а стража топориками изрубит да бояре громов намечут. Пособи – не чужие ведь, земляки». А он как посмотрит на меня, будто ума решился я, и говорит: «С неба ты, что ли, Лука, свалился?» Я и отвечаю: «Нет. Зачем мне с неба валиться? С Курострова приплыл я, а государя своего всякий поглядеть может». – «Приставал ты под угором, чай?» – «Там. Где же иначе». – «И мимо наковальни шел?» – «Шел». – «И ничего тебе на ум не вспало?» – И смеется. «Вспало: вижу – парни, двое, по кузнечному делу хорошо справляются. Аж толпа собралась и глазеет. Хорошо, думаю, работают». – «Вот и говорю, что с неба ты свалился». – И опять смеется.

Тут осерчал я, за плечо его легонько тронул, а рука в то время у меня тяжелая была, не стар еще был. И говорю ему так: «Ты, милый человек, знаешь, это вот как петухи встренутся, так один на другого, будто ума решились, наскокивают и гогочут, а я тебе не петух, и ты мне как человек человеку отвечай!» А он руку мою снял, тоже не пустяшный малый был, царство ему небесное, и говорит: «Я тебе как человек человеку и отвечаю: прямым путем ты сюда с неба. Мимо государя шел – и не признал». – «Как так – не признал? Что ты такое сказал? Креста на мне нет, что ли, государя не признать чтоб? Отец он нам всем!» – «На парней, что копые якорное выбивают, хорошо смотрел?» Тут я и схватился: «Ай-ай-ай! Никак, там царь стоит да на работу и любитесь?» – «А работа добрая?» – «Ничего не скажешь, понимаем в этих делах». – «Так вот, Лука, спасай тебя Бог, тот, что изо всей силы, молот заведя, по наковальне отмахивает, вон всех выше который, тот царь и будет».

Наслышан я уже был, что царь никакой работой не брезговает, и на руле умеет стоять, и топор держать. Однако в затылке я себе почесал. Поглядел на царя, потом на земляка взор перевел и говорю: «Ведомо мне, что государь Петр Алексеевич, всея Руси, с кузнечным делом хорошо справляется. Слыхивал. Только вот что ты мне скажи – не чужой ты мне человек – зачем это государю всея Руси по наковальне молотом что есть мочи выколачивать? Кузнецов, что ль, у нас не стало? Не хватает ли? Сколь хочешь. Выходит – тешится царь, силушка по жилушкам переливается. Не для дела. Пошто руки царские надрывает?»

А мужичишка-то наш, прими, Господь, душу его в царство праведных, умственный человек был, любил про всякое думать да умом доходить. И говорит он мне таковые слова: «А ты угадай». А сам ухмыляется. Отвечаю ему: «Сам ты угадал ли?» – «Покуда не до конца. Думаю. Вот и ты умом раскинь».

Пошел я к реке, по пути на царя поближе поглядел, сел в карбасок и поплыл к Курострову, домой. И, прости, Господь, мою душу грешную, думаю это я себе: «Все-таки балуется просто царь. Двадцать ему годов с одним. Дело молодое, перегорит. И что это такое земляк сказал: „угадай“?» В яствах сахарных, винах сладких ли у царей недостача? Покой да сон труд да заботу когда не побеждали? Надоест. В палаты каменные сядет да на перинах пуховых сладко задремлет.

А вышло не то. Всю жизнь на той струне продержался, на той мете простоял. И не понял я тогда: глаза незрячие открывает людям царь. Увидал, значит, он: сон да покой в царстве, с места ничто не идет. Нужно поднимать жизнь. Петр с самого низу и взял и с низу и до верха все прошел делом-то своим. А не боясь черной работы, делал ее по любви и понимал: царским примером хоть кого проймет.

Тридцать годов и еще с лишком минуло. Государя Петра Алексеевича уже нет. Молоды вы, а я давно живу. Видел, что было до Петра, вижу, что им сделалось. Не похоже. И на многих боях был и по-другому державу устроил, морей и земель вон какую громадину прибавил. И имя русское другим сделал. Жизнь Петрова, что гроза, над всей нашей землей прошумела...

В тот день и произошел памятный Михайле разговор.

– «Над всей нашей землей прошумела...», – повторил Михайло последние слова деда Луки. – От петровских дел складнее жизнь на земле русской? Стало быть, к тем делам Петровым всем одинаково усердно и приставать?

– Приставать к ним можно и в великом и в малом.

– Это как же?

– А очень просто. Не каждый другому ровня. Есть бояра, есть дворяна, купечество живет, наш брат мужик. Один, стало быть, выше, другой ниже. Так уж поставлено. Мужик-то, может, и не меньше умом вышел, да вот...

– А дело-то Петрово по всем одинаково прошло?

– Вроде... Только, знаешь, кто ежели наверху сидит, до своего не так уж чтобы пускать любит. Охотой. Наверху-то послаще.

– Дедушка, – вмешался в разговор самый молодой слушатель, востроглазый парнишка лет двенадцати, – слышать слышал, а видеть не видал. Каковы они-то, бояра да дворяна?

– Да люди как люди. И не отличишь. Только мужик трудами живет, а у них этого нету.

– А как же вот в Писании*, к примеру, сказано, что без трудов нельзя? Они что, не понимают?

– Ишь ты, Писание читаешь! Коли поймут, кто что делал на земле, от того злее станут.

– А по правде такая жизнь?

– В одной сказке сказывается: взял мужик суму, пошел мужик правды искать. Искал-искал и притомился мужик, искавши. Может, прошел недалеко и не достиг до той земли, где мужицкое счастье живет? Правда мужицкая не простая, да и мужицкие пути короткие.

– Мужицкие пути короткие? – спросил Михайло. – А кто их мерил?

– Было кому...

– Будто всем одинаково от Бога отпущено! И не только что перед знатными господами или какими земными владетелями, но даже перед самим Богом Всевышним дураком быть не хочу!

Наброшенный на спину кафтан сбился Михайле на правое плечо, кумачовая* рубашка была стянута кушаком. Лицо было хмурое, глаза недобрые.

«Распалился! – подумал Лука Леонтьевич. – Голова непоклонная». А вслух сказал:

– Нож бы тебе еще за пояс, ровно атаман...

– А как, значит, про то, чтобы к его делу всякого звания людям приставать, как об этом сам царь Петр, великий государь, рассудил? – спросил Михайло. – По мне, ежели кто, к примеру, учится да больше научился, тот и почтеннее, а чей он сын, в том нет нужды.

В много повидавших глазах Луки Леонтьевича Ломоносова пробежала усмешка.

– Это как раз та правда, которую не все так-то уж и любят.

Глава седьмая В ДРУГУЮ ЖИЗНЬ

Дни становились короче, и все длиннее делались спускавшиеся над Двиной мгlistые ночи.

Солнце заходило, оставляя над задвинскими еловыми лесами багровую вечернюю зарю. Теперь уже не сразу рядом с ней вспыхивали светлые полосы рассвета. Ненадолго зажигались большие звезды, две-три, и становилось видно, как по небу идет ущербная луна. Это еще не ночь, но уже и не день, и дневные птицы чайки беспокойно летают над рекой и громко кричат.

В это самое время поднимается с Белого моря семга и идет на двинские устья. Миновав стерегущих добычу тюленей, плывет она вверх по Двине до устья Пинеги и далее, пробираясь на нерест. Тихо в речной глубине проходят косяки драгоценной красной рыбы. В эту пору начинается долгожданный семужий промысел.

Над Двиной падали сумерки. В свете костра у берега были видны деревянные поплавки сети-трехстенки*, поставленной на ночь наперерез течению. Поплавки тихо била волна. Докатываясь до берега, волна бежала на песок и под ветлой, нависшей над водой, чуть слышно пела в корнях дерева.

На дальнем болоте глухо ухала выпь*.

По соседнему высокоствольному осиннику пролетал лиственный шорох.

Когда костер вспыхивал и из него в темнеющее небо с искрами полыхал огненный язык, в красном свете выступали тонкие стволы деревьев и тускло блестели жесткие трепещущие листья осин.

Темнело. Сходила ночь. В озерных зарослях ситника* и хвощей затрещит чирок-трескунок*, не поладив с соседом по ночевке, свистнет уместившийся на кочке свистунок, подаст голос кряковая утка, забеспокоившаяся о своих утятах. По воде ударит большая щука, прошедшая по кругу за ночной добычей. Из-за реки по гладкой поверхности воды долетит волчий подлаивающий вой. И снова умолкнет уходившая за день птица, перестанет биться ушедшая в водяную глубь рыба, затаится и утихнет зверь, прислушиваясь или что-то выглядывая в темноте.

Нальостров на юго-западной, поросшей лесом излучине которого облюбовал место Михайло, тонул постепенно в темноте и дымившихся от маленьких озер туманах. На низком, с заливными лугами и сочными травами острове этих озер было разбросано множество: Рушалда, Лыва, Паритово, Овсянка и другие. Лежавшие наискось через двинский рукав Холмогоры пропадали во мгле. Противоположное Нальострову нагорье, или матерá земля, – берег, за которым тянулись двинские земли, – уходило в сумеречную даль.

Михайло сидел у костра и смотрел в огонь. Под горевшими ветвями лежала красная груда жара, по краям она подернулась рыхлой кромкой пепла, по которому пробегали вспыхивающие огни.

По ночной реке долетела с другой стороны песня. Кто-то затянул протяжную. Слов слышно не было, только напев медленно уходил в ночную тишину, замирал у лесной темной опушки.

Михайло прислушался. «Один, видно, поет, – подумалось ему. – Сел где на берегу и поет».

Так и в самом деле поет одинокий певец: закрыв глаза, останавливаясь иногда на каком-либо слове, прислушиваясь к нему.

«Ночь темна, а бывает, будто дальше как-то ночью видится и в своем дневном деле, случается, больше поймешь. Ночью судьба к сердцу ближе». Михайло лег на подостланный овчинный тулуп и стал смотреть в ночное небо.

Певец продолжал петь.

«И никто ему не нужен. Сам себя он слушает. Слова не доходят, а понятно: о судьбе поет. – Михайло закрыл глаза. – Судьба? В чем она, судьба?»

И ему стало припоминаться, о чем он говорил на днях с Шубным и Сабельниковым.

Когда Михайло и Шубный уселись у ветлы, что одиноко стоит на берегу, Шубный сразу приступил к делу:

– Вот что, парень. Деется с тобой что-то. Скажись. Таиться от меня не след.

– От тебя, дядя Иван, никак мне не таиться. Дело мое такое. Книги я свои, «Арифметику» и «Граматику», читал и учился по ним. Ну нравилось, занятно было. А вдруг понял, что вся моя жизнь в том, в науках. И больше ничего мне не надобно.

Шубный побил хворостиной о сапог.

– Как в старую веру ходил, помнишь?

К чему бы это Иван Афанасьевич?

И Михайло ответил осторожно:

– Почему не помнить?

– Так вот – сторона это. Разумеешь? Не настоящее.

– То другое. Науки не то.

– Другое. Верно. А почему в старую веру ходил? Как думаешь?

– Ну как – почему...

– А вот я тебе растолкую. Страстей в тебе много. А страсть может в сторону сшибить. Очень просто. Не холодом на нее – не говорю тебе этого – а рассуждением. Прежде чем ступить на новую дорогу, ногой потрогай. Страсть – одно, поспешность – другое... Теперь вот скажи: Семену Никитичу в церкви давно уже не пособлял?

– Есть грех...

– А ретив был. Стало быть, второе уже пробовал – и отстал. Не в укор говорю, не подумай. И не от бессилья отстаешь. Куда там! Только сила твоя поперек пути тебе становиться не должна. Годы твои молодые, и потому, что кипит в тебе, вдвойне тебя берет. Вот и порешили мы с Семеном Никитичем потолковать с тобой. Нам-то на нашем веку повидать довелось, тебе, молодому, и послушать нас.

– Великие дела, значит, задумал? – спросил Михайлу Сабельников, когда на следующий день они встретились уже втроем: он, Михайло и Шубный.

– Тесно мне тут. Куда ни повернешься, все плечом во что-нибудь упруешься. Мало мне того, что вокруг.

– Мы же в этом живем, – заметил Шубный.

– Да, случается, еще и похваливаем! – усмехнулся Сабельников.

Наступило молчание.

– Вот что, Михайло, – заговорил наконец Сабельников, – слушай меня. Присоветовать хотим тебе. И мне, и Ивану Афанасьевичу тоже в свое время желалось такое, что, может, и не сбылось. И мы-то знаем, как от того на сердце нелегко. Дело, о котором задумался, на большой высоте, и, в случае чего, падать тебе с нее так, что и самой жизни решишься.

– Бери, Михайло, свое, бери. Не отговариваем. Напротив. Но – осторожно. Не рывком. Спокойной силой.

И Шубный крепко сжал в кулак большую мозолистую руку.

– Да... Жить-то, Михайло, человеку как надобно? – спросил Сабельников. – А так ему надобно жить, чтобы, доживши, к примеру, до моего – пятьдесят мне уже шесть – и оглянувшись назад, не запечалиться. Чтобы не казалось тебе, будто жизнь стороной обошла, тенями, не по свету прошла. Горше этого нет. Придумана пословица: «Прожил век за холщовый мех».

Жизни-то всякой на земле много. И какое хошь, Михайло, дело человеку не заказано. По себе всё и бери. Поднимешь – твое. И обида сердце чтобы тебе не грызла. Бывает, Михайло, и так: счастье твое пройдет мимо тебя, рядом, и ты его не заметишь. Жить надобно набело, а не начерно. Не думай, что живешь ты и к жизни своей только еще примеряешься, а потом, примерясь, ловчее с ней справишься. Нет. Двух жизней человеку не дано. Потому в одной своей не ошибайся. Как жить после будешь, вспоминай, что тебе говорили. И от сбывшегося оно, и от несбывшегося. А как свое не исполнится, душа в человеке навсегда надорванная остается. Каждому угадать себя надобно, судьбу свою увидеть. Человек под судьбой не без силы.

Вот обо всем этом Михайло сейчас и думает. Судьба? Какая она, его судьба?

Он стал смотреть на лохматые от пепла гаснущие угли. Тишина. Только слышно, как позванивают в темноте цепями стреноженные лошади.

Опять из-за реки долетела далекая песня. Проплыла лодка, тихо всплеснули воду весла, скрипнули уключины. Качнулись у берега деревянные поплавки сети под набежавшей от лодки легкой волной.

Михайло подбросил в костер сучьев, из него полетели искры и белые хлопья золы, огонь побежал по еловым смолистым сучьям, затрещал, красные языки со свистом полетели вверх.

В осиннике раздался шум, и вслед за тем громко и беспокойно закричали всполошившиеся галки. Тревожно зафыркали кони, зазвенели цепями.

У костра спали два пса. Они развалились, блаженно разморенные теплом. Когда раздался тревожный галочий крик и фыркание встревоженных лошадей, один пес, который и во сне тихо водил ухом, на всякий случай прислушиваясь, отчаянно вскочил сразу на все четыре лапы, мотнул головой, взвыл и, толком не разобрав дела, со всех собачьих ног бросился в темноту. Другой пес очнулся, со сна ничего не понял, замигал, осмотрелся и помчался за приятелем.

Михайло встал, приготовил ружье. По ночному делу всякое бывает.

Псы пофыркали, полаяли, поискали, ничего не нашли и быстрой иноходью выбежали из леса. Один, побольше, с клочковатой бурой шерстью, на ходу все на скакивал на другого, рычал, норовил схватить его за шею; другой в ответ скалил зубы и огрызался. Наконец псы подбежали к костру. Большой, оскалясь и опустив хвост, ткнул морду в колени севшему опять к костру Михайле.

Михайло почесал пса за большими мягкими ушами, тот еще глубже просунул морду в колени, разомлел, приник брюхом к земле, раздвинул передние лапы и радостно побил тугим, сплошь утыканным репьями хвостом о землю.

Другой пес угрюмо улегся на старое место и отвернулся, видимо недовольный своим приятелем, который безо всякого дела устроил переполох.

– Ну ладно, ладно. Иди, иди, – сказал Михайло лежащему около себя псу.

Тот встал, лизнул в ухо Михайлу, повилял хвостом. Затем он отошел в сторонку, присел, приподнял быстро заднюю лапу, подрал когтями шею, то место, куда давно впилась блоха, потом согнулся в дугу, поискал на ляжке другую тревожившую его блоху, порычал на нее. В конце концов пес успокоился, подошел к своему ворчливому, но верному собачьему другу и лизнул его в морду. Тот не удостоил его ни малейшим вниманием. Покрутившись несколько раз вокруг себя, потоптав место, пес свернулся калачиком, привалился спиной к приятелю, вздохнул и задремал.

Снова все тихо.

Сидя у костра и упершись руками в подбородок, Михайло смотрел, как тонкое пламя бежало по веткам и, вспыхнув, гасло на кончиках сучьев. Он снова лег на тулуп и закрыл глаза. Ему вспоминался давний разговор.

– Теперь ты вот что скажи, – проговорил Сабельников. – Стало быть, ты решил про себя: науки. А науки – куда? Для чего?

– Науки для того, чтобы человеку было все меньше страха и все больше понимания и разумения. А от того жить много легче и лучше.

– Значит, науки для лучшей жизни?

– Да, – ответил Михайло.

– Жизнь чтоб поскладней была, уж как нужно, – покачал головой Шубный. – Неслаженного ой как много! А от наук жизнь будет лучше для всех? Как думаешь?

– От наук всем выгода, – кивнул Михайло.

– Правильно думаешь, – заметил Сабельников. – Одно – верить, другое – знать. Тут ты руками возьмешь. Сам для себя устроишь.

– Дядя Семен, спросить тебя хочу...

– Ну спроси.

– Помнишь, как отец Василий числа испугался? Об «Арифметике» Магницкого тебе я тогда рассказывал.

– Помню. Это отец Василий числа боится: может, оно ему во вред станет, беспокойство причинит. Опасается, значит. А Богу-то чего ж числа бояться? Ну и, по мне, так: что числу полагается, пусть оно то и возьмет.

– Будто, дядя Семен, не сказал ты того.

– Э, брат, что я, тогда при отце Василии все должен был выложить? Запомни: противное тому, что думаешь, не говори, но всего, что думаешь, тоже не говори. И вот еще что. Путь, который ты выбрал, трудный. А по трудному пути сторожко идти. А ты, видим, бережешься мало. Нужен глаз да глаз. Ты же иногда по самому краю идешь не остерегшись. Да. И острые углы – видать, они у тебя в нраве – обламывай. Ни к чему они. В жизни, знаешь, вроде как на войне, в бою. А в бою главное – не намахаться руками, а верх взять. В какой миг и остеречься нужно, от удара уйти. А потом вдвойне ты получишь.

– Ежели кто против тебя хитрый, то и над хитростью верх возьми. Разгадай ее. Ни к чему от чужой хитрости страдать.

Сабельников сказал задумчиво:

– В жизни не оплошать надо. Не ниже своего брать. Ты, Михайло, сказал: Магницкий и Смотрицкий. А за ними для тебя что-нибудь есть?

Михайло ответил:

– Надо думать, есть.

– Что?

– Еще бóльшая наука.

После этого Шубный и произнес те слова, о которых думал Михайло неотступно:

– Ты сказал, что и сейчас тебе тут тесно. А с большими науками каково будет? Здесь ли тебе судьбу свою пытаться?

Шубный ли впервые заронил в душу Михайлы Ломоносова эту мысль или, может, она пробуждалась и у самого Михайлы? А кто позже наставлял другого куростровца – Федота Шубина, куростровского крестьянина и костереза, ставшего великим русским скульптором? Кто натолкнул будущего профессора и академика, члена Болонской академии художеств на его смелый путь? Не его ли отец – тот же Иван Афанасьевич Шубный?

Северная мгlistая ночь кончалась. Поредела темнота, по зеркальной воде прозыбил дорожку ветерок, сорвался с воды и полетел в осинник, всколыхнул и растревожил беспокойную листву. Внизу, у земли, еще густела мгла, в которую вплетался сырой туман, поднимающийся с поросших осокой и ольшаником низин, а на высоте уже золотом горели края чистых облаков. За двинскими рукавами по небу светились розовые полосы утренней зари. Из долов

снялся ночной туман, развалился в сырые клочья; они разошлись в стороны и дымно растаяли в утреннем воздухе. В озерных зарослях проснулись утки, сбились в пары и стайки и дружно полетели над водой. Из трав и лесных гнезд поднялась всякая птица. Солнце красным краем показалось над задвинскими лесами, и по речной мелкой волне пробежали теплые золотые блики.

Михайло спустился к реке, отплыл от берега и принялся выбирать из холодной, дымящейся утренним паром воды большую ставную сеть*.

Глава восьмая

СИНУСЫ, СЕМИДИАМЕТРЫ, РАДИКСЫ

Когда по осенней холодной Двине, берега которой уже припорошил снежок, отцовский гуккор поднимался от Архангельска к Холмогорам и, разбив хрусткие ледяные забережни*, подходил к Курострову, тогда кончалась мореходная страда и Михайло Ломоносов обращался к наукам.

В сентябре похолодает, пойдет засиверка*, посыплет с неба ледяная крупа, прошумит по тесовым крышам; а там незаметно подойдет и зима, замельтешит над Куростровом первый крупный снег, поднимутся над избами теплые зимние дымы, лягут под лед двинские рукава, и наступит зимняя досужная пора.

Шелестели под бережной рукой большие страницы «Арифметики», бежали строчки, теснились плотные столбики цифр, Михайле Ломоносову открывалась численная наука. В тайны синтакси образной*, просодии стихотворной* и прочей мудрости шаг за шагом вникал он по Смотрицкому.

Гудит в печной трубе ветер, посвистывает за окном сухая поземка, поднимает мелкую снежную пыль и несет ее наугад в темноту. Зимние дни короткие. Тяжело поднимется солнце, пройдет по далекому низкому полукружью и опять западет за небосклон в багровые густые облака. И снова ночь.

Михайло сидит у стола, придвинув к себе большую книгу. Он отложил в сторону густо исписанную грифельную доску* и внимательно рассматривает рисунок, который помещен в самом начале книги. Вспоминается ему, что говорилось в старых книгах о еллинских борзостях*, которых следует страшиться всякому, кто исповедует истинную веру. А вот на этом рисунке как раз и изображены провозвестники еллинских борзостей: Пифагор* и Архимед*.

Пламя свечи колеблется от дыхания, по рисунку пробегают тени, и лица двух мудрых эллинов как будто оживают. Основатели науки чисел окружены атрибутами своей науки и изображениями, которые указывают на ее всеобщее значение.

Около фигуры Архимеда нарисован земной шар с кораблем на Северном полюсе; в правой руке Архимед держит небесный глобус – знаки, что Вселенная и Земля находятся под властью его науки. Делительный циркуль, клещи (закон рычага), прямой угол у левой руки и тут же на развернутой хартии* алгебраическое умножение – другие знаки достижений ученого. У Пифагора в руках весы, развернутая хартия со вписанными в нее числами, внизу – линейка, циркуль, перо и чернильница, треугольник. Рядом – изображения монет, товары.

Михайло переворачивает несколько страниц. Вот эти строки, которые он давно знает наизусть.

Оный Архимед и Пифагор, излиша, яко воды от гор,
Первии бывше снискатели¹⁵, сицевых¹⁶ наук писатели.
Равно бо водам излиша, многи науки в мир издаша.
Елицы¹⁷ же их восприяша, многу си пользу от них взяша.
Сия же польза ко гражданству требна каждому
государству.

¹⁵ С н и с к а т е л и – представители, поборники.

¹⁶ С и ц е в ы й – такой, тот.

¹⁷ Е л и ц ы – которые.

Он повторяет вслух последнюю строку и снова смотрит на рисунок. Над фигурами Пифагора и Архимеда распростерся Герб Русского государства.

«Петров знак, – думает Михайло. – Науки к нам вступили, и по ним всей нашей жизни строиться».

Еще несколько страниц. Вот начало изложения заключенной в «Арифметике» науки. Здесь изображен храм мудрости. На престоле сидит женщина – богиня мудрости. В руке у нее ключ – ключ истинного познания мира, человека, всех вещей. На ступенях трона начертаны названия арифметических действий. Иного пути для познания нет, только число открывает истинную сущность вещей. На колоннах храма перечислены названия наук и искусств, которые подчинены счислению, – геометрия, стереометрия, астрономия, оптика, география, фортификация, архитектура.

А под рисунком большими красными буквами заглавие: «Арифметика-практика, или деятельная».

Михайло листает книгу. Вот конец. Здесь помещены локсодромические таблицы*.

«Математическое и физическое учение прежде чародейством и волхвованием считали. Ныне же ему благоговейное почитание в освященной Петровой особе приносится», – думает он. И рука его прилежно пишет на грифельной доске цифры. Он их выравнивает в столбцы, ставит знаки извлечения корней, а потом снова перебирает плотные страницы «Арифметики», на которых мелькают геометрические треугольники, рассекающие окружности прямые, разбитые вдоль и поперек, сверху вниз, красной сеткой локсодромические таблицы. А вот на трех языках – итальянском, латинском и славянском – названия ветров: трамонтана-бореус – северный; сцирокко-эронотус – восточно-южный; либекцио-зефиронотус – западно-южный и другие. А на следующей странице, со стрелой на норд, – несколько вписанных одна в другую окружностей и по кругу расположенные названия, которые так часто приходилось слышать в Архангельске, когда сойдутся туда со всего света крутобокие заморские корабли, – ост, вест, норд-ост, норд-вест.

Вот перед ним «Арифметика-логистика, или Астрономия». И ему кажется, что он приблизился взором к самому Солнцу. Взгляду открывается вечно горящий океан – пылающая поверхность Солнца. Стремятся не находящие берегов огненные валы. Над ними проносятся пламенные вихри. Камни кипят, как вода. Шумят горящие дожди.

Шел 1730 год. Уже почти все листы тяжелого тома «Арифметики» были взяты упорным, прилежным трудом, пройдены были трудные, находившиеся в конце главы: «О извлечении радикасов»¹⁸, «О извлечении биквадратного радикаса» и другие, и в «Грамматике» вся премудрость была преодолена.

Однажды отец, тихо открыв дверь, вошел в комнату, где Михайло сидел за книгой. Почти громким голосом Михайло читал:

– «Проблема¹⁹. Дану синусу правому дуги меншия четверти колесе, синус дополнения, или комплемент, изобрести. Правило: квадрат синуса данного вычти из квадрата радиуса, или семидиаметра, и оставшаго радикас будет синус комплемент».

Положив перед собой книгу, Михайло взял в руки грифельную доску и начал решать задачу, делая нужный чертеж.

– Будет радиус АВ 10 000 000, синус ВD 5 000 000 тридцати градусов, и квадрат радиуса...

Увлечшись задачей, Михайло не услышал шагов подходившего к нему отца. Отец взял в руки «Арифметику». Перелистав страницы, он остановился на том месте, где находилась

¹⁸ Р а д и к с – корень.

¹⁹ Проблѐма – здесь: задача.

решаемая сыном задача. Взяв правой рукой оставшиеся до конца страницы, он сравнил эту тонкую пачку с объемом уже пройденных Михайлой страниц.

– К концу дело-то идет. Синусы, радикасы, семиdiamетры. И не выговоришь! Так. Учение. Давай-ка, Михайло, завтра утром потолкуем. Утро вечера мудренее.

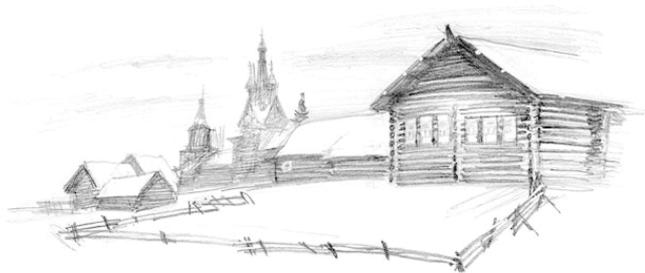
Глава девятая

БЫТЬ ЛИ СОГЛАСИЮ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ЛОМОНОСОВСКОМ ДОМЕ?

Стоит большой ломоносовский дом над самой дорогой, что прошла через Мишанинскую и соседнюю Денисовку к сельской околице, над проезжей дорогой, которая, прорезав весь Куростров, идет к Ровдиной горе, где островной берег лежит уже по Большой Двине.

В зиму, когда до крыши, бывает, заносит снегом выюжные ветры многие куростровские дома, высится дом Василия Ломоносова своей крышей над округой. А в двинский разлив, когда река покрывает Холмогоры и нагорье до самых Матигор, двинская большая вода не заливают поставленного на высококую подклеть* ломоносовского дома.

По всему окружью дома, под крышей, пущена узорная резьба, будто крупное деревянное кружево; на точеные столбы поставлена крыша большого крыльца; украшена узорными балясинами* лестница, и на самую дорогу выпущен по князьку* гордо вскинувший голову конек*.



А внутри по полкам расставлена добротная медная, до блеска начищенная посуда: большие и малые братыни*, в которых пенятся при гостях брага и пиво, медяники*, чужеземная утварь – узкие с длинным носиком кофейники. Старинные иконы в красном углу – в серебряных окладах. В сундуках есть и бархат, и парча, и шелка.

По усадьбе, огороженной не слегами*, а изгородью, прочным частоколом, толково расставлены клеть*, скотный сарай, хлебный амбар, баня, овин – крытое гумно*. Посредине усадьбы вырыт пруд – ломоносовское новшество, над прудом низко склонились ивы. В летний вечер чуть не целое стадо тучных коров подходит с выпасных лугов к скотному сараю.

Хорошо поставлено ломоносовское хозяйство, крепко срублен дом, весело смотрит он на дорогу. Все должно говорить людям о ломоносовском довольстве и веселье.

Веселье?

Вот этого-то и нет теперь в зажиточном доме Василия Дорофеевича. Все сильнее хмурится отец, все более молчаливым делается сын.

Что и как решится сегодня утром?

– Ну, Михайло, будто кончаются твои науки. К чему же они тебя привели? Какую правду открыли? – спросил Василий Дорофеевич, начиная хороню обдуманый разговор. – Ты сядь – беседа не короткая.

– Какую правду? Такую, что человеку потребно всегда идти вперед.

– Правда хорошая. Только новая ли? Еще в запрошлом годе, как на Колу мы шли, про то же тебе я говорил. Однако почему ты с твоей книжной правдой от меня прячешься? Сумрачен стал, говоришь мало. Не пристало с правдой прятаться. Да еще от кого – от отца родного. Я вон чую в своем истину – прямо и говорю. Ты-то почему молчишь?

– Не потому, что моя правда мала.

Отец крикнул.

– Так... Обиняками-то у тебя навык говорить. Вроде троп ты в жизни нехоженных ищешь. А мало ли уже по жизни троп прошло? Вот об одной для тебя и думаю. Слушай. Зверя я промышлял, рыбу ловил, по морю ходил, в «Кольском китоловстве» состоял. Делал все, к чему помор приставлен. А кроме того, купишь на свои деньги соль, муку или иное что в другое место, к другим людям перевезешь, там продашь, смотришь – прибыль сама идет. Деньга деньгу делает, деньга к деньге катится. Дело-то вокруг деньгí вертится.

– А не всякое, батюшка. И вот еще что. Несытая алчба* имения и власти род людской к великой крайности приводила. Какие только страсти эта алчба не будила в сердцах! И многое зло она устремила на людей. С ней возросли и зависть, и коварство. Дело, что вокруг деньги вертится, не всегда доброе.

– Во всем можно недоброе совершить, ежели к тому охота. Баженинское дело – недоброе разве? Посмотри на Бажениных. Из наших чернососных* крестьян, а какво справляются! Немалое дело раздута – Вавчужская верфь. На всю Двинскую землю... Что Двинскую! На все Поморье ставят Баженины суда торговые – галиоты* и гуккоры. И военные суда Баженины для казны делают. А каков почет им! Сам великий государь Петр Алексеевич, как жаловал к нам, у них, в Вавчуге, гостем был и милостями миловал. Ну, до Бажениных далеко, однако в купцы выйдешь. Не вперед ли?

– По книгам идти вперед – к свободе.

– А мое-то, о чем говорю, не свобода ли?

– По книгам – свобода разуму.

– Ежели руки и ноги у тебя, к примеру, связаны, какая свобода разуму может выйти? Ты вот скажи мне: кто ты таков есть?

Михайло не понял.

– Мужик ты есть. Сын крестьянский. И как же тебе полную свободу книги дадут? А мое-то – даст. Купеческая жизнь другая, свободная.

Михайло молчал.

– Как же ты думаешь идти со своими науками вперед у нас, в здешнем? Ежели не в наше дело, не в хозяйство, то во что с книгами и науками становиться будешь?

– Вроде не во что. У нас.

– А-а... Вон что. Только запомни: без моего дозволения никуда не уйдешь. Пашпорта не получишь. А без пашпорта если где окажешься, то нашего брата мужика кнутом бьют.



Хотя Михайло и сам знал об этом, но под сердцем у него закипело.

– Кнутом? Мужика?

– Уж так учреждено. Вот такая свобода и выйдет тебе по твоим книгам. Понял? Иди и раскинь умом. Тебе вон на архистратига Михаила²⁰ девятнадцать. По-взрослому и думай.

Надев полушубок, Михайло вышел наружу.

Стоял солнечный весенний день. Тонко пели ручейки, промывшие себе узенькие кривые дорожки в наледи. Уже сухо пестрели бурые проталины на буграх и около стволов деревьев, по которым поднялись теплые весенние соки. В глубоко проезженных дорожных колеях белела галька. Около изб черный бугристый лед покрывался у краев мягкой земляной кромкой.

Михайло сошел к Курополке. Лед на реке еще не пошел, но уже кое-где, между берегом и краем льда, сделалась щель, и в ней узкой полосой под солнечным светом блестела вода. Время от времени река надрывно ухала: на ней трескался лед, змеистая щель рассекала всю толщину льда от берега до берега.

На костре* из толстых, крепко вбитых в землю бревен стоял ломоносовский гуккор, втянутый на возвышение еще по осени. Михайло сел на канат, протянутый от верхушки грот-мачты* на берег. Было тепло. Михайло распахнул полушубок. Подперши голову руками, он смотрел на реку.

Ветер доносил холодок тающего речного льда. Михайло поднялся и вышел по откосу на деревенскую улицу.

Весна брала свое. Забившиеся под застреху* с подсолнечной стороны снегири, разомлев от тепла, оглушительно галдели на низкой, густой ноте, беря разом, как будто ими командовал особенно раздувший огненно-красную грудь снегирь, который уместился впереди стаи и сам для примера закатывался что есть мочи.

Крупным шагом вдоль дорожных обочин вышагивали вороны, выглядывая первых червяков.

Хитро, на самой тоненькой верхушке ели, уместившаяся сорока, раскачиваясь по ветру, особенно сильно, чуя тепло, кричала своим старушечьим голосом.

²⁰ На архистратига М и х а и л а – 8 ноября (ст. ст.).

Быстроногий поползень* обегал ветви ветлы, зорко рассматривал кору, стараясь различить выползшую на солнце козявку, и, наконец найдя ее, резко откидывал головку, а потом – раз-два-три! – колотил острым клювиком, как маленьким топориком.

На раскинувшихся по бугру вербах и ивах уже потрескались почки, и из них выползли кончики мягких серых пушков.

Навстречу Михайле, нырками, по-воробьиному, припадая к земле, промчалась стая зябликов, на лету стрекоча свою веселую весеннюю песню.

Шла весна.

Глава десятая ОПАСНОСТЬ

В этом году Василий Дорофеевич принял сенокосное угодье, которое находилось много ниже Курострова, уже у Большой Двины.

Когда подспела сенокосная пора, вниз по Двине отправились всем семейством: Василий Дорофеевич, Ирина Семеновна и Михайло.

С того времени, когда произошло столкновение между мачехой и пасынком, немало воды утекло. Прошли два года, шел 1730 год. Михайло учился по своим книгам. Они лежали у него открыто, и Ирина Семеновна лишь презрительно кривила губы, когда видела книги у пасынка на столе. Она их не трогала. Через гордость свою мачехе действительно переступить было трудно. Однако она смогла переступить через другое...

Ирина Семеновна полоскала белье, с размаху ударяя о воду мокрым тяжелым полотном. Прополоскав, она складывала отжатое белье горкой на подложенные чистые камни. Повернувшись к реке и опустив в воду рубаху, она не заметила, что сложенная от нее справа горка белья опрокинулась набок и упала в воду. Когда платки и полотенца уже плыли по реке, только тогда мачеха заметила беду.

Пока она отвязывала стоявшую невдалеке лодку и вставляла в уключины весла, белье уже уплыло далеко.

Собрав разбежавшееся по реке белье, Ирина Семеновна подогнала лодку к берегу и, сильно ударив в последний раз веслами, направила ее прямо к глубоко вросшему в песок якорю.

Когда лодка со всего хода ударила носом о якорное копьё, что-то вдруг хрустнуло. Выйдя на берег, мачеха увидела, что верхняя доска, которая полукружьем была заведена под носовую скрепу, отскочила в сторону. В носу зияла дыра.



Ирина Семеновна сильно прижала отошедшую доску, просунула ее обратно под скобу, вдела на гвозди, с которых доска соскочила, так как отверстия в дереве раздались, проржавев от старых гвоздей. Доска опять держалась, и ничего снаружи видно не было.

«Опасное дело, опасное!..» – подумала мачеха. Она сообразила, что, если кто-либо, не зная, поплывет далеко на лодке, а тут вдруг волна поднимется и начнет сильно трепать и швырять лодку, доска может отскочить. Вода в лодку так и хлынет.

Кончив полоскать белье, Ирина Семеновна тугими жгутами сложила его в таз, поставила таз на плечо и пошла к разбитому невдалеке за песчаным холмом стану.

«Хорошо, что заметила! – подумала она. – Наши-то собирались как будто сегодня ночью на рыбную ловлю».

Избоченившись, она ловко и быстро шла по поднимавшейся на пригорок тропинке. Вот уже и стан их виден. Около шалаша пасутся стреноженные лошади. Вон Василий Дорофеевич хлопочет у телеги с высоко поднятыми оглоблями.

Ирина Семеновна села перевести дух, занявшийся от быстрой ходьбы. Передохнув, снова поставила таз на плечо и пошла. Вдруг она резко остановилась, пораженная пришедшей ей в голову мыслью.

«Михайло-то вовсе один собирался идти на ловлю. Василий занят, – мелькнуло в голове у мачехи. – Один, один, – билась мысль у нее в мозгу, – один... Это так...»

На лице Ирины Семеновны изобразилось волнение. К щекам ее приливалась кровь, и они горели. Вдруг губы сильно сжались. Она решила. Женщина повернулась и пошла в другую сторону, туда, где виднелся стан их соседей по сенокосу.

Увидев Ирину с тазом на плече, Алена, ее подруга и землячка, удивилась:

– Ты что?

– А так... Ничего. В гости пришла. – Ирина усмехнулась и добавила: – Душу свою испытать. Крепка ли.

– Ох, Ирина, и непонятная же ты!..

– Часом случается – сама себя не понимаю... – Будто вспомнив свое дело, она спросила: – Да, вот что: нет ли вестей каких из Матигор, от наших?

– Это что ж – сюда, в стан, вести нам слать будут?

– Ах да, да. Я и забыла... В стан... Ну конечно, в стан...

– Ты сядь, Ирина. И таз свойними да поставь на землю.

– Какой такой таз?

– А вот тот, что у тебя на плече...

Ирина Семеновна удивленно посмотрела на таз.

– А-а... таз... Да, да... Я и забыла...

Вдруг она опомнилась. Сбросив таз на землю, она почти закричала:

– Я могла не видеть! Ничего не заметить! Все бы само собой случилось. И потом, обязательно же волна по реке пойдет.

Ирина говорила что-то совсем для Алены непонятное.

«Порченая!» – мелькнуло в голове у той. Так Ирину нередко называли за глаза еще в детстве, удивляясь странности и дикости ее нрава.

Ирина Семеновна села. Стали беседовать. Но разговор не клеился. Необычная гостья то замолкала, хмурилась, то вдруг задавала вопрос, а ответ не слушала. И как-то странно она смотрела на склонявшееся к горизонту большое солнце.

– Ночь... Скоро ночь... – нестати сказала Ирина Семеновна.

Алена все больше и больше удивлялась:

– Не пойму я тебя, мать! Беда, что ль, какая стряслась?

– А ты не во всякую душу старайся заглянуть. Смотри, ненароком испугаешься!

Алена вздохнула и больше уже ничего не старалась выведать у Ирины.

Когда Михайло к ночи уходил один на рыбную ловлю, мачеха еще не вернулась в стан.

Глава одиннадцатая

МАЧЕХА СПАСЛА СЕБЯ ОТ ГРЕХА

Когда Ирина Семеновна возвратилась, Василий Дорофеевич встретил ее недовольный:

– Где же ты была?

– Дела обдумывала: как жить с тобой будем да поживать да добра наживать. На то время нужно.

– Добро-то я наживаю.

– Оно мне и досадно.

– И придумала что?

Ирина Семеновна бросила на мужа сумрачный взгляд:

– Придумала.

Она пошла к телегам, но, отойдя, бросила через плечо:

– У Алены была. Заговорились. Ну вот и задержалась. С детства ведь подруги мы. Есть что вспомнить.

Ночь Ирина Семеновна спала плохо. И как только развиднелось, она встала и пошла к реке.

За частым тальником, густо обсевшим речной берег, Двины видно не было. Быстро пройдя по вившейся среди кустов тропке, Ирина Семеновна вышла к тому месту, где берег обрывом падает к намытой рекой песчаной полосе. Она раздвинула в стороны сизые хлысты тальника. По серой еще воде Двину была частая подветренная волна.

– Ты что, мать, рано поднялась? – встретил жену только что проснувшийся Василий Дорофеевич. – Что на реку ни свет ни заря ходила?

– А искупаться – по прохладце.

– Будто ране поутру купаться не ходила.

– А вот теперь взяла да и пошла.

Ирина Семеновна вздела на перекладину чайник и медяник с кашей, запалила хворост и села у костра, неподвижно глядя на побежавшее густыми желтыми языками пламя.

– Вроде забота у тебя на сердце, Ирина. О чем думаешь?

– О чем? Да вот о том, как это человеку на этом грешном свете да без греха прожить.

И стоит ли?

– Вдруг да без греха не до всего дойдешь? Так?

– Может, и так.

– А тебе все на высоту хочется?

– Плохо ли?

– Ну, станется, и придумываешь себе грех, который полегче?

– Не так уж чтобы...

– Малых грехов, от которых большая польза, не так уж много...

– И то...

Чайник зафыркал, поднял крышку, из носика в огонь побежала тоненькая водяная струйка. Через некоторое время поспела и каша.

– Без Михайлы, что ли, завтракать будем? – спросил Василий Дорофеевич.

– Без Михайлы? Как хочешь...

Уже и поели и попили, а Михайлы все не было.

– Припозднился где, – не без думы заметил Василий Дорофеевич. – Припозднился. Да.

– И раньше случалось.

– Пойти к реке поглядеть. – Накинув на плечи армяк, Василий Дорофеевич пошел к Двине.

Волна сильно брала в глубину, закипала лохматым пенным гребнем. К берегу гнали косые, во всю речную ширину валы; подкатив к лежалому береговому песку, они зло вертелись на нем туго скрученными громадными водяными столбами и зашипевшим краем бросали воду все дальше и дальше.

Василий Дорофеевич взгляделся в разбушевавшуюся реку. Лодки на волнах не видно. Еще раз хорошенько поглядел Василий Дорофеевич. Ничего. Покачав головой, он сел на вывороченный из земли лохматый от корней пенёк. За шумом воды он не расслышал, как подошла Ирина Семеновна.

– Что это тебя, Ирина, все к реке сегодня тянет? – спросил Василий Дорофеевич, когда, обернувшись, увидел стоящую позади жену. – Двина-то вон! – кивнул он на разбушевавшуюся реку. – А лодчонка у Михайлы не ахти.

– Не впервой он на воде. Поймет, что, может, и переждать чуток надо.

– Отчаянная голова!

– Рассудит.

С севера черным густым валом шли тяжелые облака. Взвывший ветер пронесся над рекой, захлестал заметавшиеся кусты тальника и высоко в небо метнул сбитые листья. Он стал рвать с воды длинные тонкие струи, рассыпал их в воздухе, гнал водяную пыль. Как будто над водой летел густой мелкий дождь. Так зимой от ветра летит над землей снежная поземка.

С высоты падали на воду чайки, вскрикивали и в сильном воздушном течении взмывали вверх, косо под ветром раскинув острые, как два ножа, крылья. Река, казалось, хотела вырваться из душивших ее берегов.

Через гряду облаков рвался ветер, под его ударами они тревожно металась на высоте. Так в небе мечутся дымы, взмывшие над землей от стоверстных лесных пожаров.

Темнело. На нижний слой облаков где-то сверху накатывал новый облачный вал. По краям туч зажглась едкая огненная грозовая кайма.

Ирина Семеновна из-под ладони смотрела на реку. И вдруг – это ей не показалось – она что-то различила. Вдали по волнам под верной рукой приникала к воде тяжело шедшая к берегу востроносая лодка.

Василий Дорофеевич спросил вскрикнувшую жену:

– Ты что?

Она молча указала на реку.

– Ни к чему удалство, переждать бы. Это Михайло, – сказал Василий Дорофеевич, взглядев в даль.

Михайлина лодка с трудом держалась на воде, как чайка, которая вдруг с косого быстрого полета скользнет вниз и с криком врежется в волну.

Михайло чувствовал малейшее трепетание лодки, под его рукой она держалась на воде как живая. В мгновение, которое грозило гибелью, Михайло одним рывком вёсел, движением туловища наклонял лодку, и волна, которая грозила перевернуть лодку, захлестнуть ее, завертеть в плотной воде, улетала за его спиной.

Вот лодка уже недалеко от берега.



Ирина Семеновна глубоко вздохнула:

– Спас Господь душу от греха!..

– Какую душу?

– Человеческую.

Мачеха быстро пошла тропинкой в сторону от реки. Все-таки она не могла сразу взглянуть Михайле в глаза.

Упали первые большие капли дождя. И вдруг сразу раздался низкий могучий гул. Это под прямым ударом ливня загудела земля.

Последним рывком Михайло повел лодку на гребень. Она замерла на переломе волны, затрепетала и полетела на водяном изгибе со всего маху на прибрежный песок.

Глава двенадцатая МИХАЙЛО ВСЕ ЗНАЛ

По тому, как пасынок посмотрел на нее при встрече, Ирина Семеновна заподозрила, что он о чем-то догадывается.

Когда, уже к вечеру, они оказались с глазу на глаз, мачеха спросила Михайлу:

– Примечаю я, будто сказать что-то мне хочешь. Тайное, что ли? Говори. Одни мы. Как скажешь, что до времени таишь, на душе легчает... – И насмешливо посмотрела на пасынка.

– Понимаешь, матушка, чуть было не искупался я, а может быть, и того боле.

– Что так?

– Да лодка с течью, и с хитрой какой! Доска одна разболталась, а с виду и не скажешь. Хорошо, что заметил.

– А как же ты в такой лодке по реке выплыл? Волна-то вон какая была!

– Крутая.

– Как же ты?

– А я лодку зачинил. Сидел я на берегу, у края лозняков, не заметила ты меня. Как белье, которое у тебя расплылось, ты изловила да лодку подогнала, гляжу издали это я: вроде ты у носа лодочного что-то поправляешь. Как ты ушла, я к лодке – ну и благодаря тебе, матушка, все и увидел. Пришлось хорошенько гвоздями забить да еще и посмолить. Для такого случая и всю лодку проглядел, чтобы где не просаливала. Неровен час... Сама, матушка, о повреждении, видно, сказала бы мне, ежели встретились бы. Да не вышло. В гости, что ли, ввечеру куда ходила?

Мачеха вплотную подошла к Михайле, схватила его за рубаху у плеч, притянула к себе. Тихо и бешено прямо в лицо Михайле просвистели сквозь сжатые зубы ее слова:

– Да ты что, в кошки-мышки, что ли, играешь?!

Михайло схватил мачехины руки, изо всей силы сжал их. Хрустнули кости, но мачеха не издала ни стопа. Сдавленным, глухим голосом Михайло крикнул:

– Не утонул! Нет! Жив – видишь?

Ирина Семеновна отвела в сторону глаза и криво усмехнулась.

Сняв со своей груди мачехины руки, Михайло отпустил их.

– Великий гнев у тебя, матушка, в душе живет! Так гневливо и дела как следует не сладишь.

Теперь терять Ирине Семеновне было уже нечего. Все открылось. Она села на корягу, скрестила на груди руки, подтянула края платка и с наглым спокойствием спросила:

– Так. Отцу уж сказался?

– Нет.

– Почему? Не поспел?

– Не потому. Нужды нет.

– А ты не побрезгай.

Обидные Михайлины слова так и резанули мачеху по сердцу, но она только скривила губы.

– «Нужды нет»! – продолжала Ирина Семеновна. – Притворяешься. Не боюсь я ни твоего рассказа, ни твоего оговора. Понял?

– Понял. Правда, не боишься. Да и не след такого бояться. Гнева только своего бойся. В нем слепой становишься.

– Не уразумею я тебя, Михайло. Это ты по христианству, по-доброму? Как тогда с быком? Или просто так – струсил?

– Когда человек сильно сердится, случается, без веры говорит. И слова ему тогда не для правды, а для утешения самого себя.

– Мудрость, мудрость... Глубина, ой глубина!

– А в слове самая суть – правда. Для того оно и придумано.

– Все-таки не пойму: с чего бы?

– Ненадобен тот рассказ. Ни к чему.

– Так вот я же объясню тебе. К тому хотя, чтобы подобный нынешнему случай когда не повторился. Уразумел? А?

И мачеха, подняв голову, бросила на Михайлу насмешливый взгляд.

– Уразумел, уразумел! Как не уразуметь. Вот и говорю, что подобное не случится боле.

– Это ты откуда же ведун таков выискался, что в чужой душе как по писаному читаешь?

В твоих книгах, что ль, про то описано?

Михайло молчал и что-то обдумывал.

– Аль такая линия одолела тебя – все добром и добром, покуда добро само собой верх возьмет? Не потонет ли в мирском зле твое одинокое добро?

– Будто мое добро одинокое?

– Каждый за свое стоит, и то людей делит. Свое добро чужому добру друг невеликий.

Как те два добра столкнутся, нетрудно и злу загореться.

– Ну, матушка, уж если ты по такой высоте повела, то на ней и будем дело решать.

Ирина Семеновна молчала.

– Вот что. У тебя, матушка, разум...

Мачеха перебила:

– Благодарствуем на добром слове.

– Потому ты и поймешь...

– Ой ли, дойду ли?

– Дойдешь. Только не сразу поверишь. Зло, матушка, широко разошлось. Много неправды над народом.

– Мятеж, что ль, какой замыслил? Аль в ушкуйники* собрался? Атаманом учиниться захотел? Пытали, пытали до тебя. Многие головы сложили.

– А я новым делом займусь – науками.

– Не впервой слышу. Ежели и так, то что? В науке, что ль, на мятеж подниматься?

Михайло усмехнулся:

– Я говорил, матушка, что у тебя разум! Вроде...

– Ну, одно дело мы решили. Растолковал мне, к чему науки лежат. Без тебя бы и невдомек. Ты-то что в науках творить будешь? Ты, что ль, учнешь тот свет по земле разливать? Это вроде как Ермак – тот Сибирь под руку брал, ты теперь – науки. Что ж замышляете, Михайло Васильевич?

– Теперь, матушка, к тому, что у тебя на сердце лежит, и подхожу. Большим наукам у нас здесь обучиться негде.

– А ты здешние, значит, вполне уже постиг? До самого дна? Теперь к самым высоким стремишься?

– К самым высоким.

– И не страшно? Где же тем наукам быть? Стой, стой... – Мачеха морщила лоб. – Стой... Вон оно что!.. Это ты говоришь, что за теми науками тебе в дальний поход. И нам, стало быть, к расставанию себя готовить. Ой, плач и воздыхание!.. И куда же думаешь подаваться? Сам ли или, может, с какой ратью на науки ополчаться будешь?

– Сам.

– Ну богатырь!.. Как одолеешь, обратно сюда, нам, темным, на удивление?

– Какое дело у нас есть ныне здесь для больших наук?

– А-а... Разумею. В помышлении своем от родного гнезда совсем отлететь замыслил? Ровно птица вольная.

– Вот ты, матушка, правду и угадала. И слава богу. И еще знаю: о намерении моем батюшке сказывать не станешь.

– Ясновидец, ясновидец! Правильно говоришь. Мозги не корова сжевала. И чем там брать будешь?

– Надо терпением.

– Для терпения кому храбрости не доставало? – Ирина Семеновна глубоко и устало вздохнула: в сердце у нее не было ни торжества, ни радости. – И как это только случается: одолеешь в чем, ждешь – взыграет от того дух, глядишь же: ничего нету, и в сердце пустота.

– Когда не в добром деле одолеешь.

– Много ли их, добрых дел-то?

– А ты, матушка, поищи.

– Не пустая ли забота?

– Там и видно будет.

– А думал ты, хитрец-мудрец, что бабе дел никаких-то и нету? Не придумано еще. Скучно мне, ох скучно!

Ирина Семеновна откинула голову, платок сдвинулся, и густые косы ее упали на плечи.

– И что мне, бабе, нужно? А?

И, обращаясь к Михайле, она сказала:

– Ты говоришь: добро. А в добре для меня дела мало. И знаешь что? Я ведь ни добрая, ни злая. Сказала: просто скучно мне.

– Скука – она часом и опасная бывает. Невзначай кого и погубишь...

Ирина Семеновна метнула на Михайлу быстрый взгляд, снова враждебный и злой.

– Всё занятие.

– Не через меру ли?

– Как для кого.

– Тебе-то дешево ли дается? Поутру, как вернулся я, заметил, будто лицо у тебя как после дурной ночи. Не спала, что ли?

Ирина Семеновна пренебрежительно посмотрела на улыбающегося Михайлу и ничего не ответила. Она не спеша убрала разметавшиеся косы; вынимая по одной зажатые в зубах костяные резные шпильки, закрепила волосы и накинула на голову платок.

– Так, Михайло Васильевич, на великие дела, стало быть, поднимаешься. Так-так... Что ж, дай Бог нашему теляти волка задрати.

– Не поперек, значит, твоей дороги стою. И душу твою понимаю.

– Мою, может, и понимаешь – нехитрое дело. Свою понимаешь ли? Так ли легко она от деньг да достатка отпадет?

– Вот, матушка, и хотел сказать тебе... Малость потерпи. На скуке своей смотри не сорвись. А то как еще да не вполмеры возьмешь...

– Кто ж его знает – может, и на полную меру хватит.

– Вот и хочю остеречь тебя. Против самой же себя.

– Еще спасибо на добром слове. Вроде душу мою спасти хочешь. И долго ль, стало быть, в надежде нам жить да ожиданием томиться?

– Нет, недолго.

Повернувшись спиной к мачехе, Михайло пошел по косогору в сторону леса. Отойдя немного, он обернулся и сказал:

– И знаешь, матушка, земля от стыда еще никогда не проваливалась.

Михайло шел твердой морской походкой, покачиваясь из стороны в сторону, крепко ставя ноги в рыхлый песок, и скоро его высокая фигура скрылась за кустистым тальником, у поворота идущей по песчаному откосу дороги.

А Ирина Семеновна все сидела и думала и никак не могла решить, правду ли ей сказал Михайло, в самом деле куда-то он там собирается или смеха ради говорил? А коли так, то пусть бы уж он лучше не смеялся... Ну а если сказанное им и в самом деле правда, то все-таки какая-то странная и мало ей понятная.

Глава тринадцатая «КНИГА БОГОМЕРЗКАЯ АЛЬВАРУС»

Вернувшись по осени с моря, «Чайка» на несколько дней задержалась в Архангельске.

Проходя как-то по набережной, Михайло остановился около подогнутой к самой пристани ладьи, груженной гончарной посудой. Хозяин ладьи, холмогорец, только что приведший ее в Архангельск, рассказывал собравшимся на палубе последние холмогорские новости.

Слушатели негодовали, поддерживали рассказчика возгласами, перебивали возмущенными вопросами, заставляли еще раз пересказывать. Михайло сел поодаль на лежавшее на берегу бревно. На него не обратили внимания.

Собравшиеся на ладье были раскольниками.

Было от чего прийти в ярость! Как же! В Холмогорах, в славянской школе, что при Архиерейском доме, с этой осени будут обучать чему? Латыни! Сам, сам, своими собственными ушами он это слышал! И рассказчик обводил слушателей негодующим взглядом.

Вот до чего дожили! Сегодня людей заставляют латинский язык учить, на котором кто молится? Католики! А завтра и крест четырехконечный, латинский, отверженный, над землей Русской поднимут. Вот к чему ведут никониане! А когда рассказчик сообщил, по каким книгам будут учить латыни, это и еще подлило масла в огонь.

Своими глазами Михайло видел несколько таких книг в Холмогорах. Как откроешь эту книгу – тут же намалеван ангел: не наш. Глаза у него в сторону смотрят, хорошо приглядишься – смеются. Под ангелом же, что глаза скосил, он самый и есть – крыж! Крест четырехконечный! Вот и смеется ангел этот, крылышками двумя помахивает: глядите, мол! Да разве то ангел? Бес! А по бокам, пониже, какие-то хари богопротивные, носы у них длинные-предлинные, вроде даже языки показывают эти хари!

И, слушая это, раскольники дружно плевались.

Кто сочинил ту книгу? Кто! И-е-зу-ит!*

И когда слушатели недоуменно переглянулись, рассказчик им пояснил, кто такие иезуиты. Он бывал в Выговской пустыни, где и поднатерел во всем, что нужно знать истинному блюстителю древнего благочестия. Да, сочинил ту книгу иезуит Альварус.

– Сжечь бы ту книгу богомерзкую Альварус! – мечтательно проговорил один из раскольников.

– Сжечь! Поди, и в огне не горит: дьяволова!.. – вздохнул другой.

В Холмогоры привезли книги, по которым можно научиться латыни! Эта новость поразила и обрадовала Михайлу.

Еще весной Сабельников как-то сказал ему: «Ну, брат, на высоте ты уже – „Арифметику“ и „Граматику“ на зубок взял. Чтобы еще выше в науки пройти, требуется знать язык латынь. К высоким наукам без него не подступишься».

Как научиться латыни? Хоть немного. С этим и в Москве легче будет. А именно туда и решил уже пробиваться Ломоносов. Теперь же ясно: по возвращении надо попытаться раздобыть в Холмогорах книгу Альваруса. Но как это сделать?

Вернувшись домой, Михайло узнал, что для обучения наукам в преобразуемую холмогорскую славянскую школу из Москвы присланы два новых учителя: Лаврентий Волох и Иван Каргопольский. О последнем и его необычной судьбе Ломоносову рассказали немало.

Но как же все-таки добыть книгу?

В осенний день спозаранку Михайло отправился в Холмогоры. Он знал дьякона, у которого можно было бы попытаться получить книгу Альваруса. Дьякон состоял при Архиерей-

ском доме и был близок к славянской школе. Как к этому дьякону приступить – это Михайле было известно, и потому он взял с собой полтинник, скопленный правдами и неправдами.

Ломоносов приступил к делу прямо. Сказав, что хочет получить книгу Альваруса, он вынул из кармана деньги.

– Вот за книгу ту заплачу.

Дьякон не без благосклонности взглянул на полтинник. Что же делать? Дело неплохое – полтинник, но вот как все-таки отдать книгу? Ведь все на счету.

Хитрый дьякон погладил бороду, пустил ее тыльной стороной ладони лопатой вперед и задумался. По достойном промедлении сказал:

– Вот что, Михайло. Знаю твоего отца. Усердный христианин. Его прилежание великую помощь воздвижению нового каменного храма, Дмитровской церкви, оказывает. Знатное рвение употреблено Василием Дорофеевичем для сбора денег среди земляков на построение сего блистательного дома Божьего. И Василий Дорофеевич сам усердный жертвователь. Сыну сего достойного христианина от нас должен быть почет.

Михайло молчал. Дьякон не торопился продолжать, видимо что-то обдумывая. Оглядев сидевшего напротив Михайлу, он сказал:

– Достойный сын Василию Дорофеевичу. Ну, отец-то безбеден, потому и сыну такому, чтобы с честью имя носил, видно, сколько нужно денег дает?

Михайло сразу понял, куда клонит дьякон.

– Отец дьякон, боле ничего нету. Одна только полтина. Батюшка деньгами не балует.

– А-а-а! В скромности и воздержании растит отрока. Деньги что? В деньгах и пагуба таится.

«Нет – что же полтинник? Стоит ли? Не стоит...»

– А для какой надобности Альваруса иметь желаешь?

– Книги латинские хочу читать научиться.

– А хорошо ли обдумал, каков будет плод стремления твоего?

– Отец дьякон, боле полтины нету.

– Не о том говорю, криво толкуешь, – строго сказал дьякон. – Нехорошие мысли. Не подобают тебе... Греховные помышления. Если бы можно было, то и без платы отдал. Но книги сии Архиерейскому дому принадлежат. Помысли ли за мзду отдать? Как обо мне думаешь?

– Неподкупность всегда в вас чту, отец дьякон.

Косо и подозрительно глядя на Михайлу, дьякон сказал:

– Хочу открыть очи твои. Прозри! – Дьякон учительно поднял перст. – Наукам предаешься, знаю! Язык латинский усугубит познание твое. А помыслил ли ты, каковая горечь простечет для тебя от наук? Вроде овцы заблудшей окажешься. С латынью ли за сохою идти? А?

Дьякон смотрел на Михайлу почти грозно.

– Разумен ты, потому помысли и о большем. Господь, творя человека, создал его так, что каждый член в нем и каждая способность – для своего дела. Руки – для труда и созидания, очи – для лицезрения величия творения, речь дана человеку, чтобы всечасно славить Господа. В человеке все определено высшей мудростью и промыслом²¹. И захоти кто нарушить Божеское предустановление, разрушится все и получится полное нарушение естества. Так и в государстве. Все в нем мудрым разделением держится. Правитель печется о благе народном и во главе боярства и дворянства оберегает родную землю от супостата. Духовенство усердно молит Господа о ниспослании благодати²². Крестьянство трудится и в поте лица добывает хлеб насущный, чтобы пропитать себя и своих соотечественников. Многие же люди предаются различным рукомерам и пекутся об одежде, жилье и всем прочем, потребном для всего народа.

²¹ Пробмысел – Божья воля.

²² Благодать – Божья милость.

Дьякон прервал течение мысли и предался размышлению по поводу столь возвышенных предметов. По окончании размышления он продолжал:

– Ежели преступить границы дозволенного, то получится великое смятение всего и раздор. Обратимся к уподоблению. – Дьякон опять поднял учительно перст. – Ежели, к примеру, крестьянство, пекущееся о хлебе насущном, потщится выйти из своего состояния, то зарастут плевелами* поля и оскудеют житницы*, учинится запустение великое, и глад поглотит весь народ купно же с крестьянством. И колико²³ мудро предустановлено все сие Господом, обнаруживается через то, что ежели когда таковая дерзкая и с разумом несовместная попытка возникает, то Господь наказует сих преступающих Его закон и обрушивает на них кару.

– Отец дьякон! Достоин ли я столь высоких размышлений!

Дьякон метнул в Михайлу уже злой взгляд. Но он умел держать себя в руках.

– Оные крайности, за которые все одно карает Господь, могут быть предупреждены, ежели со тщанием и неотступно наблюдать порядок, учрежденный промыслом. И кому же, как не нам, всечасно молящим Господа о ниспослании благодати, кому же, повторяю, как не нам, воссылающим Ему молитвы, следить за тем, чтобы сей установленный порядок блюлся свято?

Дьякон застыл в положении восторга и умиления. Глаза его были устремлены горе²⁴.

Когда благодать отпустила дьякона и он снова сошел мыслию к сей брэнной²⁵ жизни, то сказал Михайле:

– Ты, Михайло, крестьянский сын, в подушный оклад* положен. Возмечтал, Михайло! Смирись!

У Михайлы начинало закипать под сердцем.



Дьякон продолжал:

– По лицу твоему пробежала как бы тень. Вижу! Но да не ляжет тебе на душу горечь. Говорю тебе: в крестьянской доле – великий почет. Ведь через крестьянство, через его святой труд, доставляется людям всяческое пропитание, чем и продлевается жизнь рода человеческого. Душа возвышается, когда помыслишь о сем! Твое дело – крестьянствовать у двора.

²³ К о л и к о – сколько, сколь много.

²⁴ Г о р е – вверх.

²⁵ Б р э н н ы й – грешный, земной.

Всякому свое: нам, служителям церкви, воссылать молитвы Господу о прощении грехов всех людей и наших собственных!

Дьякон приблизил одна к другой отверсты²⁶ ладони и устремил их вверх, подняв ввысь и очи. Так он и оставался в умилении, смотрел в угол, как бы возносясь мыслию.

Михайло посмотрел, куда устремлял взор дьякон, и спросил:

– Это что, отец дьякон, вы там разглядываете?

– Как – что? Благодать узреть устремляюсь.

– Это, стало быть, она из того как раз угла на вас нисходит?

Дьякон побагровел. Мутным злобным взглядом он уставился на Михайлу и вдруг – куда девался бархатный голос! – завизжал:

– А-а! Что говоришь? Кошунствуешь? За подобное-то знаешь что?

– Знаю! Не в ад. Длинно, отец дьякон, говорили. Не короче ли было бы, если бы о Качерине вспомнили?

Дьякона под самый корень подрезало. Он ведь думал, что уж так-то тайно качеринское дело ладит, что никому о том и слыхом не слыхать. А вот оказалось, что благодарственные воздания Качерина, крестьянина, сын которого учился у них в школе, куда крестьянским детям доступ был закрыт, известны... Дьякон захлопал глазами, засопел, что-то хотел сказать, но только непонятное прохрюкал. Даже лисьей дьяконовой хитрости дело оказалось не под силу.

– Отец дьякон, – продолжал Михайло, – вы говорите, что крестьянство тем взяло, что хлеб возвращает, чем споспешествует продлению жизни рода человеческого на земли?

Дьякон ответил зло и грубо:

– Говорил. Так оно и есть.

– Однако отец мой и я – мы поморы, по воде ходим, а хлеб растим только что для себя. Мы, значит, из общего установления уже и выступили? А? Посему учрежденное для крестьянства, которое хлеб возвращает, нас уже и не касается?

– А ты не мни, что я глупее тебя разумом случился. Когда тебе еще сопли мать подолом утирала...

Но тут дьякон вовремя заметил, как бешено сверкнули глаза у Михайлы, как он потемнел лицом и двинулся вперед. Как-то невольно голова дьякона нырнула в плечи.

– Опомнись, опомнись! – крикнул дьякон.

Михайло косо посмотрел на съжившегося дьякона и процедил сквозь зубы:

– Видно, отец дьякон, духом приутожились стать за проповедуемую истину?

Он круто повернулся и пошел к двери.

²⁶ О т в е р с т ы й – открытый.

Глава четырнадцатая «ПАРИЖСКИЙ СТУДЕНТ»

Но Михайло не успел выйти. Дверь распахнулась, и на пороге появился высокий плечистый человек в одном кафтане и без шапки. Он окинул глазами перепуганного дьякона, взглянул на разъяренного Михайлу.

– Эге! Никак, баталия?

– Никакая не баталия! – И остановившийся при появлении неизвестного Михайло взялся за ручку двери.

– Дерзости преисполнен, – заявил приободрившийся дьякон, – дерзости. Грамотей здешний знаменитый.

– Кто? – насторожился вошедший.

– Михайло Ломоносов.

– А-а-а... Ломоносов. Слышал.



Вошедший преградил путь Михайле.

Михайло сделал еще шаг вперед.

– погоди! Потолкуй с Иваном Каргопольским. Давно пора. Еще когда следовало прийти.

Михайло с удивлением уставился на этого высокого человека в потертом кафтане. Лицо его густо заросло сивой щетиной, волосы были разметаны, из-под нависших густых бровей насмешливо и умно поглядывали внимательные цепкие глаза. Иван Каргопольский! Вот он каков!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.